

ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД.
ДЕРЖАВНЫЙ
ПЛОТНИК (СБОРНИК)

История в романах

Даниил Мордовцев

**Господин Великий Новгород.
Державный Плотник (сборник)**

«Public Domain»

1882, 1895

ББК 84(2Рос=Рус)

Мордовцев Д. Л.

Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник) /
Д. Л. Мордовцев — «Public Domain», 1882, 1895 — (История в
романах)

ISBN 978-5-486-02270-8

Творчество писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905) обширно и разнообразно. Его многочисленные исторические сочинения, как художественные, так и документальные, всегда с большим интересом воспринимались современным читателем, неоднократно переиздавались и переводились на многие языки. Из богатого наследия писателя в данный сборник включены два романа: «Господин Великий Новгород», в котором описаны трагические события того времени, когда Московская Русь уничтожает экономическое процветание и независимость Новгорода, а также «Державный Плотник», увлекательно рассказывающий о времени Петра Великого.

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02270-8

© Мордовцев Д. Л., 1882, 1895
© Public Domain, 1882, 1895

Содержание

Господин Великий Новгород	6
Предисловие автора	6
Глава I	8
Глава II	13
Глава III	20
Глава IV	25
Глава V	32
Глава VI	38
Глава VII	44
Глава VIII	50
Глава IX	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

**Даниил Лукич Мордовцев
Господин Великий Новгород.
Державный Плотник**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2008

© ООО «РИЦ Литература», 2008

Господин Великий Новгород

Предисловие автора

Мне бы хотелось перенести читателя в глубокую древность, в которой витают теперь моя мысль, сердце и воображение, словно губка, напитанная картинами, образами, речами и звуками этой чарующей своей таинственностью древности.

Правда, это не та далекая, поэтическая, окутанная дымкой тысячелетий седая древность Востока, куда переносит своего читателя высокодаровитый Эберс¹, под художественным пером которого оживает таинственная жизнь Древнего Египта – Египта времен фараонов и Моисея, а давно умершие цари и царицы Нила, ее жрецы и воины, «парасхиты»² и «Уарды»³, давно истлевшие под знойным солнцем юга, либо в виде мумий спящие непробудным сном в пирамидах да в разных европейских музеях, встают перед нами как живые, с их радостями и печалью, любовью и ненавистью.

Это и не та мифическая древность времен Цимбелина⁴, не классическая древность Эллады и Рима, в которую иногда переносит нас гениальное, неистощимое творчество величайшего из рожденных женщиной смертного – Шекспира.

Древность, в которую я хочу перенестись с моим читателем, только относительно глубокая; но это наша родная, русская древность, кровавым, так сказать, пятном засохшая на исторической памяти Московской Руси. Это – древность Господина Великого Новгорода с его вольной вечевою жизнью, когда под звон «вечного» колокола собирался к Ярославову дворищу или на Софийский двор весь «Господин Великий Новгород» с его знатными мужами и посадниками, со степенными тысяцкими и боярами, с богатыми гостиными и «пошлыми» купчинами, с «лучшими старыми и молодшими людьми», когда на вечях с вечевого помоста держали речь к Господину Великому Новгороду его излюбленные говоруны, когда там же, на ступенях вечевого помоста шумели во все мужицкие горла «худые мужики вечники» и привалившие из пригородов, из дальних «пятин» и сел «рольники» и «обжинные тяглецы», и когда вече превращалось в бурное море, а провинившиеся перед Господином Великим Новгородом ораторы и целые массы «недобрых людей» свергались с великого моста в Волхов, подобно идолищу Перунищу, и сотнями погибали в его волнах, а дома их и «животы» брались недовольной стонкой на «поток и разграбление».

Мне кажется, что я вижу перед собой этот вольный, шумный, поражающий кипучей деятельностью и богатством «великий град». Передо мною встают из развалин его старые стены с мрачным Детинцем, видевшим в себе еще Мстислава Удалого; перед моими очами раздвигаются вширь и вдоль все его пять «концов» с «улицами», раскидываются на десятки и сотни верст его пригороды, которые так и кричат, кажется: «На чем Господин Великий Новгород постановит, на том и мы, пригороды, станем». Встают из развалин многочисленные церкви и часовни этого великого города с раскинувшимися на десятки верст кругом монастырями, и во всех церквах ярко горят свечи во множестве массивных паникадил, стоят тучи дыма от

¹ Э б е р с Георг Мориц (1837–1898) – немецкий писатель, египтолог. Совершил в этой области ряд научных открытий. С целью популяризации египтологии написал несколько пользовавшихся успехом исторических романов (большинство из них переведены на русский язык).

² П а р а с х и т ы – древнеегипетские бальзамировщики

³ У а р д а – героиня одноименного романа Г. Эберса (1877).

⁴ Цимбелин – легендарный правитель древней Британии, царствовавший незадолго до вторжения туда римских войск под началом Авла Плавта (43 г.). Герой одноименной пьесы Шекспира, жизнеописание которого драматург почерпнул из «Хроник» Холиншеда.

«темьяна» и ладана и гремит хвала Великому Богу и святой Софии и вечная слава – Господину Великому Новгороду. Я слышу звон бесчисленного множества колоколов, которые кричат до самого неба божью славу, и меж всеми этими колоколами особенной мелодией звучит для меня голосистый «вечный», или вечевой, колокол, от которого «дрожало каждое новгородское сердце». Передо мной встают из могил славные «мужие новугородстии», бородатые посадники, бояре и купчины гостиные, усатые удалые добрые молодцы – «хоробрые укшуйники» с Васькой Буслаевым во главе и с Садком богатым гостем и его гусельцами звончатыми.

И все это – все величие и богатство Господина Великого Новгорода, его многолюдство, его шумные вече, его торговые площади, обширные и густонаселенные «концы», его испоконная свобода и право «показывать путь» нелюбимым князьям и говорить им – «иди, княже, откуда пришел, ты нам нелюб» – все это исчезло как дым...

Что теперь представляет собой Господин Великий Новгород? Жалкий губернский городишко, занимающий, может быть, десятую долю своих обширных развалин. Он изображает отчасти то, что говорила якобы на вече Марфа-посадница, которой Карамзин влагает в уста следующую цветистую речь: «скоро ударит последний час нашей вольности, и *вечевой колокол*, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастью народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бедному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!.. Но знай, о, Новгород, что с утратой вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изоощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окрыляет суда новгородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся... Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные *концы* твои; широкие улицы зарастут травой, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: здесь *был* Новгород!»...

Конечно, Марфа-посадница не могла говорить *так*, но все, что она могла говорить другими словами, сбылось...

Эти последние дни независимости Господина Великого Новгорода и составят предмет нашего повествования.

Глава I

Избрание владыки

Мягкое морозное утро 15 ноября 1470 года⁵.

На колокольнях новгородских церквей раздается торжественный трезвон. Под этот трезвон горожане из церквей и домов валят на Софийскую сторону, прямо через Волхов, по льду, и по «великому мосту» – кто успевал раньше других попасть на мост.

Скоро Софийский двор с площадью около собора, и без того полные народа, окончательно запружены были колыхавшимися массами. Народ толпился и в улицах, и по всему Детинцу, но целое море голов колыхалось около собора.

У Святой Софии только что кончилась служба. Двери собора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь. В воздухе слышался запах ладана. Все головы и глаза обращены были к паперти – ждали...

Начиная от церковных дверей, на паперти, на ступеньках соборного крыльца и около него стояли старосты «концов», сотские и десятники, поблескивая на солнце бердышами. Среди них терся слепой нищий, известный всему Новгороду Тихик блаженненький – «Христа ради юрод» и, за неимением глаз, духом своим «провидящий вся сокровенная». Он прикасался то к тому, то к другому из старост и сотских, тряс косматую, нечесаную головой и идиотически улыбался. В руках у него была длинная палка – посох с ручкою в виде восьмиконечного креста⁶, на котором висели различной величины сумки. Две большие суммы перекинута были, посредством ремней, через плечи, крест-накрест.

Наконец, из соборных дверей вышел на паперть священник в полном облачении и с крестом в руках. За ним показалась седая голова с золотою гривною на шее. Священник осенил крестом народ на все стороны – и тысячи рук замахали в воздухе, творя крестное знамение. От этого немного согласного движения тысяч глухой гул прошел по площади и по всему Детинцу.

– Братие новугородьци! – раздался с паперти скрипучий старческий голос. – Жеребий Господень совершается! Молитесь святой Софии, да укажет перст Божий на достойного владыку.

Тысячи рук снова взметнулись, и снова глухим гулом – немая молитва по всему Детинцу...

– Сыщите, братие, Тихика блаженного, – снова раздался тот же старческий голос.

– Тихика!.. Тишу блаженненького! – пронесся говор в толпе.

– Здесь Тихик, здесь блаженный...

– Я тутотка, – отвечал сам нищий, ощупывая посохом землю и подходя к паперти. – Тутотка изгой Тишка... Подайте Христу!

И он протягивал руку, ожидая получить милостыню.

– Чадо Тихиче! – заговорил священник, осеняя нищего крестом. – Сотвори знамение.

Нищий перекрестился и поднял голову, поводя слепыми глазами и как бы ища чего-то в воздухе. Священник приложил крест к его губам.

– Гряди за мною, чадо, – продолжал священник, – тебе, слепорожденну, подобает налезти жребий владычен; гряди за мною.

⁵ Автор сознательно вводит анахронизм, так как современное летосчисление от Рождества Христова было принято на Руси только в 1700 г. До этого же вели счет «от сотворения мира». Тогда это – «...утро 15 ноября 6978 года».

⁶ Восьмиконечный крест – бывший в Русской православной церкви до реформ Никона. На традиционном для всех христиан четырехконечном кресте еще две перекладины: вверху с титлами («винами» распятого Христа), внизу перекладина-подножие – символ «Мерила праведного», весов Суда Божьего, указующего на два возможных пути, рая и ада, для каждого.

Нищий, стуча посохом по ступенькам соборного крыльца, взшел на паперть. Священник повернулся и пошел снова внутрь храма. Слепой следовал за ним, ощупывая путь свой посохом. Все расступались перед ними.

Массы народа, заполнявшие площадь, еще более понадвинулись к собору. На лицах выражалось нетерпеливое ожидание и как бы испуг. Многие со страхом крестились и глубоко вздыхали. Казалось, все эти массы ожидали чего-то неведомого, рокового. То там, то здесь слышался сдержанный говор:

- Тишеньку слипеньково повели владыку вынимать...
- Слепой-ту зрячее у Бога, братцы, живет.
- Кого-ту святая София даст нам во владыки?
- Отца Пимена, вedomое дело.
- А может, Варсонофья слепенькой вымет.
- О, Господи и святая София, спаси град свой!

Между тем слепец, следуя за священником, прошел через весь собор и очутился у амвона⁷.

В церкви все усердно молились, поглядывая в то же время на царские врата, которые были открыты. В алтаре, вокруг престола, собралось высшее духовенство Новгорода. Именные люди города, степенные посадники, бояре, житые люди⁸ и гости, блистая золотым платьем и дорогими мехами, а иные – массивными золотыми гривнами, занимали весь правый придел. В левом приделе стояли женщины и молились особенно жарко, не сводя глаз с темных ликов икон и с дорогих окладов. Впереди всех их, у левого клироса, на почетном месте, стояла высокая, дородная и уже немолодая боярыня с матовой белизной смуглых полных щек и с черными широкими бровями. Черные, с большими белками глаза ее неподвижно устремлены были через царские врата на престол, на котором стояла дароносица⁹, покрытая богатыми воздухами¹⁰, а около нее – три блюда, тоже прикрытые каждое малиновою тафтой.

Женщина эта была – Марфа Борецкая, или Марфа-посадница. «Посадниками» и «посадницами» называли в Новгороде не только настоящих, действительных посадников и их жен, но и тех, которые когда-либо были на посаде – равно и жены их всю жизнь назывались посадницами.

– Дерзай, чадо! – уже в царских вратах обратился священник к нищему.

Слепец, продолжая посохом ощупывать пол, поднялся на амвон и, сделав перед царскими вратами три земных поклона, вошел в алтарь и остановился у престола.

– Дерзай, раб Божий Тихиче! – продолжал священник. – Ныне престолу Бога жива предстоиши.

Слепец еще перекрестился. Рука его дрожала.

– Простри руку твою, – подсказывал священник.

Слепой протянул руку. Глаза всех находившихся в соборе напряженно следили за ним. Глаза же Борецкой, казалось, пожирали дрожащую его руку.

Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытого тафтой, – до правого. Разнородные ощущения прошли по лицам присутствовавших в церкви.

– Вознеси горе жребий сей, да узрят стоящий zde, – распоряжался священник.

Нищий поднял первое блюдо над головой. К нему подошел соборный протоиерей с орарем¹¹ на руке и, бережно взяв блюдо, возложил его себе на голову, как бы это был дискос с

⁷ А м в о н – возвышение в церкви перед алтарем, с которого читается Евангелие и произносятся проповеди.

⁸ Относящиеся к городским зажиточным сословиям, а также несущие службу при дворе князя или посадника.

⁹ Дароносица – сосуд в виде ковчега, служащий для хранения и переноса причастного хлеба, Святых Даров.

¹⁰ В о з д у х – пелена для покрытия в церкви сосудов со Святыми Дарами.

¹¹ О р а р ь – то же, что и орарий, принадлежность дьяконского облачения: широкая лента с крестами, которую дьякон во время службы носит на левом плече.

агнцем пасхальным¹². Потом, вместе со священником, державшим в руках крест, он вышел из алтаря и направился к выходу из собора. За ними следовал тот седой боярин с золотою гривною на шее, который и прежде этого выходил на паперть. Это был посадник – глава Господина Великого Новгорода. Все глаза по-прежнему напряженно следили за движениями этих трех лиц.

Выйдя на паперть, протодиакон снял с головы блюдо и подал его посаднику. Посадник снял с блюда тафту. Под тафтою оказалась свернутая дудочкою бумажка. Глава города развернул ее и прочел написанное на ней.

– Господине Великий Новгород! – громко произнес он, поднимая вверх бумажку. – Смотрите – вот жребий преподобного Варсонофия!

– Варсонофий! Варсонофий! – прошел говор по площади и по всему Детинцу.

– Не быть владыкой Варсонофию – не на него пал перст Божий.

Все заволновалось. Говор, хотя сдержанный, но могучий, как всколыхнутое бурей море, волнами ходил по всему пространству, занятому народом.

– Отца Пимена! Пимена во владыки!

– Не надо Пимена – он латынец!

– Феофила протодьякона! Феофила!

– В Волхов Феофила! Он московской руки... холоп княженецкий!

– Пимена в прорубь! Пимен похвастается: меня-де и в Киев пошлют на ставленье... я и в Киев пойду... Латынец он... литва хохлатая.

Между тем священник, протодиакон с блюдом и посадник воротились в собор. Первые два вошли в алтарь, где у престола все еще стоял слепой Тихик.

– Паки дерзай, раб Божий Тихиче! – провозгласил священник.

Слепец вздрогнул, протянул руку и ощупал левое крайнее блюдо. При этом движении слепого яркая краска залила полные щеки Марфы-посадницы, не спускавшей глаз с престола.

И это блюдо протодиакон возложил себе на голову. Тем же порядком и священник с крестом, и протодиакон с блюдом на голове, и посадник вышли к народу.

Опять сняли тафту с блюда и раскрыли жребий.

– Господине Великий Новгород! – раздался тот же голос старого посадника. – Вот жребий преподобного отца Пимена!

– А... Не быть Пимену, латынцу, владыкой! Не вывезла кривая...

– Феофил владыка! Многая лета владыке Феофилу!

– Ай да Тиша блаженненькой! Знал, кого вымать! Исполать Тише.

Действительно, там, в храме, на престоле, остался жребий Феофила-протодьякона, и это было знамением, что Бог благословляет избрание во владыки новгородские Феофила – а Варсонофия и Пимена отверг.

Избрание владыки свершилось. Но не было, как водилось прежде, всенародного ликования... Напротив, только немногие голоса огласили стены Детинца и соборную площадь шумными восклицаниями в честь и во здравие новому владыке. Мало того, дело кончилось тут же, у Святой Софии, свалкой, во время которой у кричавших «слава» и «многая лета» были поразбиты носы до крови и перещупаны ребра. А когда толпы повалили с Софийской стороны на торговую, то «кончане» и «уличане» с Славенского и Плотницкого концов да некоторые из пригорожан, большею частью «худые мужики-вечники»¹³, обрушились на «житых людей» из Людина и Неревского концов, шибко их помяли, а некоторых с мосту прямо пошвыряли на реку, на лед. «Худые мужики-вечники» кричали искренне, хотя и не о себе, а то, что хотели от

¹² Плоское блюдо, тарель, на который кладут литургический хлеб, пресуществляющийся во время церковного обряда в плоть Господа Иисуса Христа – агнца. Все это рисует торжественность обстановки, при которой происходит чтение грамоты.

¹³ Так в Новгороде называли крестьян-тяглецов (тягло – подать), они принадлежали к «худому» (низшему) сословию, но имели право «судить-рядить» на вече вместе со всеми.

них (те же Борецкие), чтобы они – кричали... Что избранием во владыки не Пимена, а Феофила богатые люди (как будто не были таковыми сами Борецкие) готовятся продать Новгород в московскую кабалу, где «козам рога правят» и «слезам не верют»... Что зажмет Москва Новгород в «ежовы рукавицы да согнет в три погибели», как она уже согнула княжество Тверское и иные... Что можно, коли уж шибко начнет наседать, и с Литвою побрататься, чтоб она, Москва, «растак ее да переэдак – знала, что Господин Великий Новгород ни кречету, ни соколу, а тем паче татарскому улуснику – гнезда своего, Святой Софии, в обиду не даст»¹⁴.

Когда Марфа выходила из собора, окруженная сторонниками, и горстями бросала «резаны», «куны» и «мордки»¹⁵ в толпы ее почитателей, «мужиков-вечников», лицо ее вспыхивало багровыми пятнами, а глаза метали искры. Народ провожал ее криками радости, а у нее сердце щемило досадой.

Как бы то ни было, но проглотила она обиду судьбы – и из собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и тысяцкого, и других знатных людей к себе на пир, чтобы духовное торжество завершить приличным случаем плотским радованием.

Вместе с прочими Марфа пригласила на пир и слепого нищего, блаженного Тихика, и, невзирая на его лохмотья и нищенские сумы, болтавшиеся на нем, посадила его на почетное место.

В числе ее гостей был один, привлекавший к себе общее внимание. Это был невысокий, сухенький старичок с уже лыняной бородою и тем более необыкновенно в его годы живыми глазами. Но одет он был в грубое монашеское одеяние, и именно что – монахом, человеком не от мира сего, оставался он среди шумных гостей: нездешняя, за пределами видимого, глядела в молодых глазах его какая-то особенная мысль...

Хотя все вокруг него – говорило, улыбалось, кланялось; возглашая и из Священного Писания, и, целыми цитатами, – из пророка Исаии¹⁶, из «Слова» Даниила Заточника¹⁷ и из «Вопросов» Кирика¹⁸ – льстило радушной хозяйке: все вокруг говорили о славе «Господина Великого Новгорода», о его управлении, о разных «пятнах» новгородской земли¹⁹ о торговле с амбурскими и аглицкими немцами²⁰, о том, что у Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Федоровой улице с ветвей малых топольцев капали слезы... Но этот гость, казалось, не принимал ни в чем участия и молчал, тихо перебирая четки.

Этот молчаливый старичок был знаменитый подвижник Соловецкой обители – преподобный Зосима²¹. Печать необыкновенно аскетической энергии лежит на всей жизни этого необыкновенного человека. Родившись в пределах вольной новгородской земли, он еще с юных лет почувствовал в себе недовольство той жизнью – жизнью мелочных целей и желаний, которая окружала его. Его пламенная душа искала подвигов, жаждала идеала – и этот идеал вопло-

¹⁴ Известны две Софии, принявшие за исповедание гонимого в первые века христианства мученический конец: одна была обезглавлена в Египте, другую в Риме «казнили горем» – на ее глазах убили дочерей (Веру, Надежду, Любовь), после чего она умерла сама... Но в Византии и в Древней Руси «софийские» иконы и храмы посвящались не этим святым, а «Софии премудрости Божией».

¹⁵ Монеты из серебра, обрезанные в соответствии «с курсом»; «куна» – мелкая денежная и платежно-торговая единица, в XIV в. равнялась 1/50 гривны; «мордки» и «ушки» (белок) – разменные «деньги-меха», еще меньшего достоинства, чем «куны».

¹⁶ Из пророчеств о гибели Иудейского царства, за которые предсказатель был убит.

¹⁷ Памятник древнерусской книжности XII в. Как ни одно другое произведение древнерусской литературы, опирается на явления народного быта; автор «Слова» склонен к нарочитой сниженности стиля, пародирует даже Священное Писание, переделывает цитаты из псалмов; проступают юмор и балагурство скоморохов.

¹⁸ Речь идет о сочинении религиозного характера XII в. – «Впрошания Кирика-новгородца», созданного в форме вопросов, которые автор задавал тогдашнему архиепископу Новгорода Нифонту.

¹⁹ Административно-территориальные единицы в Новгородской республике (Бежецкая, Водская, Деревская, Обонежская, Шелонская).

²⁰ Русские всех европейцев германского происхождения звали немцами; здесь: гамбургские немцы и англичане.

²¹ Первый настоятель Соловецкого монастыря; в 1478 г. был причислен к лику святых.

тился у него в отшельничестве, в борьбе с дьяволом, который, казалось ему, господствовал над миром. Глубоко поэтический, он любил природу – любил слушать «говор древесных листов», чувствовать «трав прозябанье», прислушиваться к лепетанью горного ручья, к приboям сердитых волн родного озера – Ладожского, которое в бурю клочкотало и пенилось в скалах Валаама. Только с природой он чувствовал свою духовную связь, только среди безмолвной, но для него говорливой природы он любил – любил эту недостижимую даль синего неба, эти летучие облака, суровую зелень северного леса – и молился, стараясь забиться подальше от людей. Сначала он молился и «трудился» на Валааме, но этот труд показался ему ничтожным; он искал более суровых подвигов и, прослышав, что отшельники Савватий²² и Герман нашли недоступный для людей остров где-то у полуночного моря, перебрался и сам туда. Это было в 1430 году. На этом далеком острове они и основали христианскую обитель, самую северную в мире и самую суровую. Кругом небо да море – и то и другое без конца-краю...

Савватий скоро умер, но не в своем мрачном уединении, а вдали от острова, на Ваге. Остались на острове только Герман да Зосима. Никто в Новгороде не хотел верить, что люди могут жить в такой далекой и суровой стране, а между тем слава отшельников росла, имя Зосимы разносилось по всем концам новгородской земли. Зосима перенес мощи Савватия с Ваги на остров, и толпы поклонников из далеких мест потянулись к новой святыне, на неведомый «оток моря», где, по слухам, «чудище неизглаголанно, хотяще потопити остров и вся сущая на нем», и только молитвами преподобного Зосимы исчезал под водою «оний зверь гороподобный».

Но слава человеческая всегда рождает зависть мелких людей. Позавидовали многие новгородцы и преподобному Зосиме с его обителью, которая с каждым годом возрастала числом иноков, а вместе с тем и богатела. Новгородские рыбаки-стяжатели помыслили оттягать у отшельников рыбные ловли, и вот преподобный Зосима и явился в Новгород отстаивать свои права на остров.

– На ките, родимая, сказывают, угодничек-от приплыл с киян-моря, с самово острова Буяна, – рассуждали новгородские бабы, видевшие Зосиму в числе гостей Марфы-посадницы.

– На ките! Матушки, вот страстобушка!.. И он ево, угодничка, не сглотнул – кит-от?

– А крест на что? Он, этот кит самый, родимая, креста ни-ни!

– Знамо крест – он и кита испужает, а не то что.

– Так вот он каков живет, этот угодничек, Зосима, дивыньки. А исть он одну просвирку в неделю – такой постник!

– И-и!.. Что ж и на пиру-ти у Марфы, у посадницы, он, угодничек, ничево исть не будет?

– Ничевошеньки, родимушка, ни синь пороха... Просвирочку, може, махоньку либо причастица святово ложечку, вот и все: они вить, святые угоднички, только просвиркою да причастицем святым и живут.

– То-то святость-то – не легко ее сподобиться!

²² Основоположник Соловецкого монастыря; в 1435 г. был причислен к лику святых.

Глава II

Пир у Марфы-посадницы

Дом Борецких находился на Софийской стороне, в Неревском конце, на Побережье, между Розважею и Борковой улицами. По словам летописца, дом этот был «чюдень» своею лепотою извне и богатством внутри. Он не походил на тогдашние московские дома, которых неуклюжая татарская пестрота так и кричала своею грубостью, так и была глаз аляповатостью и татарско-византийским безвкусием – чем-то средним между монастырем, кибиткою и острогом. К Новгороду не привилась еще тогда эта византийско-татарская оспа.

Дом Марфы скорее напоминал средневековое жилище богатого бюргера, в котором славянская простота первобытного стиля и первобытных украшений скрашивалась европейским искусством и предметами, созданными западною цивилизацией: славянская братина в полтретья ведра и славянская чара с дыню астраханскую стояли рядом с красивым кубком изящной итальянской работы и позолоченным литовским турьим рогом; родные скатерти браные, покрывавшие длинные столы с дорогими приборами, мешались с сукнами и шелками «любскими», «дацкими», «аглицкими» и «амбургскими»; вычурные изделия «рыбий зуб» и шелки шемаханские виднелись и на гостях, и на стенах, и на скамьях там же, где и бархаты «фларенски» и «венедицки»²³, «камки куфтери»²⁴ и «сукна лундыши»²⁵... Видно, что в Новгороде уже давно было прорублено то окно в Западную Европу, которое через несколько столетий пришлось Петру пробивать в Петербурге кровавым топором, долго плававшим в московско-русской крови. Мало того, в Новгороде была отворена в Европу целая дверь, и Марфа Борецкая, как любезная хозяйка, стояла на пороге этой двери и принимала дорогих немецких гостей, наезжавших в Новгород из любских, аглицких, амбургских, венедицких, дацких, шпанских и иных мест...

И настоящий пир у Марфы-посадницы не обошелся без иноземных гостей.

Обширная передняя палата Марфы была установлена длинными столами «покоем»²⁶. Столы были покрыты скатертями браными, а скамьи у столов – дорогими коврами и сукнами. На столах дорогая посуда, братины, чары, кубки, блюда и шитые полотенцы для утирания рук, хотя в обычае было, что каждый гость имел свою собственную «ширинку» в кармане и ею утирался, а люди старые – так те, по старине, обсасывали запачканные кушаньями пальцы или просто обтирали их о свои головы, тогда еще не так скоро плешивевшие, как ныне.

На почетном конце посажено было высшее духовенство Новгорода – новоизбранный владыка Феофил, Софийского собора казначей и друг Марфин – Пимен, отец Варсонофий, духовник покойного владыки Ионы. Тут же чернелась и скромная фигурка преподобного Зосимы, а недалеко – и лохмотная одежда блажененького Тихика с его нищенскими сумами. По сторонам их восседали – седоволосый, но необыкновенно моложавый на вид, с золотою гривною на шее степенный посадник Господина Великого Новгорода Василий Ананьин, вожди антимосковской партии Василько Селезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, архиепископский чашник; тут же старый боярин Памфиль и другие бояре. Между почетными гостями особенно бросался в глаза недавно прибывший из Киева «на кормление» князь Михаил Олелькович с несколькими киевлянами, которых одеяние напоминало собою что-то не то польское, не то литовское, а хохлы на маковках да черные усы приводили новгородских баб в немалое

²³ То есть флорентийские и венецианские.

²⁴ *Куфтер* – одна из разновидностей камки, китайской шелковой ткани с разводами.

²⁵ Английские сукна, производившиеся в Лондоне.

²⁶ То есть буквой «П».

изумление, иных в трепет даже, а некоторых, помоложе, и в восхищение: «Не то, мать моя, ефиопы, не то Ягорьи хоробрые»...

Сама хозяйка и ее два статных сына – черноглазый, весь в мать Дмитрий и белокурый, кудрявый и с кудреватой же бородкою Федор, сопровождаемые челядью со блюдами и кувшинами в руках, – постоянно ходили около гостей и усердно потчевали каждого разными, наваленными горою на блюда яствами и питиями. Постоянно слышалось: «Не побрезгуйте, дорогие гости, – куровя печеное, а се лебедь жарена, а се боран молодой – осетринка добрая – пирожок с вязигой – теша межукосна с хренком – романейка добрая – ренское сладенькое – мальвазейцы стопочку махоньку – чарочку угорсково – грибков рыжиков – семушки свежей – отведайте, гостюшки, не побрезгуйте – чем богаты – от чистово сердца – сижка копченово – поросеночка молочново – гусачка с яблочком – глухарика малость испробуйте – индийсково петела с шпанским моченым виноградом – пивца аглицково черново – много довольны, матушка Марфа, ажно рыгаем со умилением и молитвою о твоём здравии...»

Одно кушанье сменяло другое, и казалось, что им и конца не будет. Челядь не успевала вносить, разносить и уставлять блюда, чтобы сменить и унести опорожненную посуду, а хозяйка с сыновьями все угощала да умасливала дорогих гостей и ласковыми словами, и низкими поклонами, и улыбками. Братины, рога, ковши, кубки и всякие чапарухи переходили из рук в руки, сверкая серебром и золотом. Вносились и уносились ендовы, глиняные кувшины, бутылки.

Только двое из гостей не принимали участия в пиршестве – блаженный Тихик и преподобный Зосима. Первый брал от каждого блюда порядочный кус и, крестясь и улыбаясь, совал его в один из висевших на нем мешков и мешочков и при этом бормотал: «Деткам своим понесу – птицам небесным, что не сеют, не жнут, не в житницы собирают... Много у меня таких птичек».

И все знали, кто были эти «птички»: блаженненький Тиша так называл нищих.

Зато преподобный Зосима положительно ни до чего не дотрагивался, как ни упрашивала его хозяйка. Он только благословлял каждое подносимое ему блюдо, конечно, постное, но ничего не ел и хранил глубокое молчание.

Сначала беседа на пиру шла беспорядочно, шумно, но потом разговором овладело несколько лиц, и в особенности благообразный седоголовый посадник, которого все слушали очень внимательно. Посадник с своими речами преимущественно относился к князю Михаилу Олельковичу и к преподобному Зосиме соловецкому, которые, как недавно прибывшие в Новгород гости, не знали самых свежих, весьма важных новостей, волновавших последние новгородские веча.

Князь Олелькович слушал посадника, окидывая и его, и все общество черными, блистающими глазами, и по временам вставлял в речь своего собеседника, от себя, то игривое замечание, то вопрос, вызывавший улыбки и смех гостей. Преподобный же Зосима слушал молча, не подымая головы, и только иногда как бы окатывал светом своих серых, небольших, но живых глаз красивое лицо посадника или лицо его соседа, Селезнева-Губы, и опять прятал эти пронзительные глаза и поникал головою.

– Так не ласков москаль? – вставил Олелькович, блеснув разом и светящимися глазами, и белыми, такими же светящимися зубами из-за приподнятых улыбкою черных усов: – Яко кот до сала?

– Точно, княже, – как кот до мышей, – улыбнулся и посадник.

– А мыши что?

– Да мы, новгородские мыши, княже, – будь тебе ведомо, – посольство к московскому коту правили... О земских делах своих я был посылан в Москву... Приехал это я в Москву, поклонился боярам новгородскими поминками. Приняли дары – не спесивились.

– Любят сало – ласковы до него?

– Любят, княже... Поклон правлю им от Господина Великого Новгорода – прошу доложиться великому князю на очи... Не подобает, говорят, тебе, холопу, пред светлыя царския очи становиться.

– «Холопу»! – проворчал сердито Селезнев-Губа, стукнув чарою об стол. – Холопы они, а мы вольные люди.

– Что-то зазнались! – вскинул на посадника стоячими глазами и сосед Селезнева-Губы белокурый Арзубьев Киприян. – А давно он у Ахматки стремя и ногу целовал?

При этих словах соловецкий отшельник, в свою очередь, как бы изумленно вскинул глазами на Арзубьева и Селезнева-Губу...

– Так и не допустили до князя?

– Не допустили, княже... Да еще меня же и докоряют: как же это, говорят, приехал ты от Великого Новгорода великому князю посольство править о своих земских новгородских делах, а о грубости и неисправленье новгородском ни одного-де и слова покорного не правишь?

– О грубости?... эге-ге! Мыши коту согрубили...

– Да, о грубости... А я им на это аркучи тако: «Господин-де и Великий Новгород мне это не приказывал».

– А чим бы то мыши согрубили коту? – улыбнулся Олелькович хозяйке, которая в это время подошла к нему сама с золотым кубком на подносе.

– Да Новгород, княже, не пустил через свои земли послов псковских ради того, что они ехали к великому князю не с добром, – отвечала Марфа, кланяясь князю кубком.

– Какое же было их недоброе дело?

– А они, княже, плетут в Москве на нас безлепичные сплетки, – отвечал посадник вместо Марфы. – Так вот, когда я отвечал боярам, – продолжал он, не давая говорить хозяйке, – что мне того в посольстве править не указано, так бояре, аки псы ощетиная, рекли, что-де сие великому государю вельми грубо – не в истерп-де воля новгородская и что-де и великий государь тебе, Василию-посаднику, указал ответ ево, государев, держать, Великому Новуграду, аркучи тако: «Исправьтесь-де и, отчина моя, Великий Новгород, людие новугородстии, сознайтесь в винах своих, в земли и воды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно, по старине, ко мне, великому государю, посылайте бить челом по докончанью, а я вас, отчину свою, жаловать хочу и в старине держу».

Посадник договорил последние слова взволнованным голосом, бледное лицо его вспыхивало багровыми пятнами, и, когда, замолчав, он потянул руку к братине за чарой, рука его дрожала. Глаза преподобного Зосимы как-то робко вскидывались на него из-под опущенных ресниц и снова прятались. Глаза Марфы, которыми она обводила собрание, горели молодым огнем.

– Что ж он и впрямь! Так! Ноли мы холопи московские! Новгород ни у кого в холопех не был, – заговорил сын Борецкой, Димитрий, бледный и взволнованный.

– Не был и не будет! – ударил кулаком по столу Арзубьев.

От этого удара чары и братины задрожали и расплескали вино. Преподобный Зосима вздрогнул и с немим укором глянул на Арзубьева. Марфа самодовольно обвела гостей своими большими глазами. Она видела, что уже довольно подпито и разгорячена кровь у большинства.

«Ох, баба, заварила кашу... – казалось, говорили, однако, задумчивые глаза соловецкого отшельника. – Каша закипает... Кто-то будет ее расхлебывать?...»

Михайло Олелькович, тоже подвыпивший, веселыми и лукавыми глазами оглядывал расходившихся новгородцев и подзадоривал их то улыбкой, то кивком головы...

Духовные чины между тем вели более скромную беседу – о церковных делах. Отец Пимен, белокурый и рыжебородый попина, жарко оспаривал в чем-то своего соседа, новоизбранного владыку Феофила.

– И ты таки на Москву поволочишься на ставленье? – говорил он, откидывая от кистей своих пухлых рук широкие рукава рясы, мешавшие ему жестикулировать.

– И поволокусь, – невозмутимо отвечал октавой сухой, черный и горбоносый Феофил.

– Ноли и свету токмо, что в окошке?

– Точно – у нас оконце едино в царствие Божие: греческая восточная церковь.

– А чем киевская церковь не греческая?

– Олатынилась она латынскою коростою.

– Эх, владыко! Не тебе бы говорить, не мне слушать! Ноли московские митрополиты не ездили в орду ярлыки себе хански на митрополичий престол выкланивать? Ноли Алексей митрополит не обивал пороги у поганого сыроядца? А вить московская церковь не отатарилась. Почто же ты латынскою коростою позоришь киевскую церковь? Уж коли бы она окоростовела латынью, так святые печерские угодники не стали бы лежать в своих пещерах – ушли бы в Москву либо там во Иерусалим.

– На то их святая воля.

Чем более горячился Пимен, тем спокойнее держал себя Феофил. А лицо Зосимы, не проронившего ни одного слова из всего этого словесного «розратья», становилось все задумчивее и грустнее.

Кругом беседа становилась все шумнее и шумнее...

– Отцы и братия, мужие новгородстии! – возвысил голос старший сын Марфы, Димитрий. – Послушайте меня! Хотя я человек молодой, а многое испровидал на своем веку. Я бывал в Литве – Литву я знаю и Киев знаю. Добре знаю и Москву загребистую: Москва на крови стоит. Поразмыслите, отцы и братия: в те поры, как Москва добывала русские города и княжения огнем и мечом, проливала и проливает кровь хрестьянскую, Литва никого не ставила в обиду, и вот ноне своею волею даются за литовскаго князя Козимира²⁷, и угорская земля просит себе другого королевича, Козиминова сына... А кто волею своею задавался за Москву? Какая овца охотою волку служить похочет?

– Истину, святую истину глаголет Димитрий! – кричал сухопарый Иеремия Сухощек, чашник владычний, и лез целоваться с оратором.

– Слава Димитрию! – стучал по столу Арзубьев.

– И матери его Марфе слава! – хрипел Селезнев Губа.

Один боярин, совсем пьяный, тоже лез целоваться с Димитрием и бормотал:

– Блажено чрево... блажени сосцы...

– Полно-ка, кум, об сосцах-то! – перебил его Сухощек, таща за руку.

– А что, кум?.. Воистину блажени сосцы...

– Да ты хозяйку своими «сосцами» соромотишь.

– Почто соромотить! От Писания глаголю.

– За короля Козимира! – кричали пьяные голоса.

Марфа ходила по палате довольная, счастливая, приветливая: то она заговаривала с одним, улыбаясь другому, дружески кивала головою третьему; то подходила к «отцам», взглядом и улыбкой одобряла запальчивую речь Пимена и пожимала плечами на холодное, сухое слово Феофила; то силилась заглянуть в потупленные глаза молчаливого соловецкого отшельника, который упорно не глядел на нее или при приближении ее шептал: «Не вмени, Господи...» То она подходила к блаженненькому Тише и совала в его переполненные сумы либо рыбу, либо куровя печеное, а тот только идиотически улыбался и шептал: «Птичкам моим, птицам небесным».

Посадник пил меньше всех, больше всего разговаривал с князем Олельковичем, который горячо хвалил литовские порядки, превозносил силу и величие короля Казимира, гово-

²⁷ Имеется в виду Казимир IV (1427–1492), король польский и великий князь литовский.

рил о льготах и милостях, коими этот мудрый король осыпал своих подданных, и не теснил ни веры их, ни совести. По временам посадник задумывался, как бы силясь разрешить трудный, мучивший его вопрос, и при этом вопросительно взглядывал на Зосиму соловецкого или на постное, строгое лицо Феофила.

Между тем Димитрий Борецкий, около которого столпилось несколько бояр, положив три поклона перед киотой²⁸, стоявшей в переднем углу и наполненной дорогими образами в золоченых ризах, снял с гвоздей висевшее там серебряное распятие и положил его на стоявший здесь же аналой²⁹, покрытый малиновым бархатом.

– Ты что, сынок, задумал? – спросила удивленная Марфа.

Все оглянулись на передний угол. Димитрий казался крайне возбужденным...

– Что с тобой, Митя? На что крест-то вынул? – спрашивала встревоженная мать.

– Во славу Великого Новгорода, – отвечал тот и снова положил три земных поклона.

Потом он поднял над головою правую руку со сложенными для крестного знамения пальцами и громко, дрожащим голосом произнес:

– Се яз Митрей, Исаков сын, Борецкий, целую животворящий крест сей на том, что положить мне голову мою за волю новгородскую и не дать воли той и старины новгородской, и веча новгородскаго, и вечного колокола, и Святой Софии в обиду ни Москве, ни князем московским, а буде голова моя ляжет в поле – и, се обещая, я и вручаю по животе моем на вечную свечу³⁰ по душе моей³¹ все мои земли, угодья и деревни и воды с рыбными ловы, куды топор, и соха, и коса, и лодка ходила: ино гореть той свече вечной у престола Святой Софии до Страшного суда, как стоять вечно воле новгородской до трубы архангела!

Он остановился – бледный и дрожащий. Шум пирующих стих как от удара грома. И посадник и Марфа стояли бледные. На изможденном лице Зосимы соловецкого изобразился ужас.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – глухо произнес Димитрий и поцеловал крест.

– Аминь! – пронесся по собранию голос Пимена.

Димитрий глянул кругом. Глаза его встретились с глазами Селезнева-Губы.

– И яз целую крест на том же! – громко произнес Селезнев.

– Аминь! – снова прозвучал голос Пимена.

– И яз целую крест на том, что лечь мне костями за волю новгородскую! – выкрикнул Арзубьев.

– Аминь! – повторил Пимен.

– И яз целую крест за Святую Софию и за вечный колокол! – отозвался и Иеремия Сухощек.

– Аминь! аминь! аминь!

Вдруг последовавшая за этим возгласом тишина нарушена была какими-то странными, непонятными звуками: казалось, что кто-то навзрыд, хотя сдержанно, всхлипывал. Все огляделись в изумлении. Действительно, за передним столом, на почетном месте, Зосима соловецкий, закрыв свое сухое, испостившееся лицо такими же сухими ладонями, тихо рыдал, покачивая головою как бы от нестерпимой боли, между тем как слезы, выступая из-под ладоней, скатывались на четки и разбивались об них, как капли дождя о камень.

Всех, уже настроенных предыдущим, поразило это неожиданное явление. Марфа, казалось, окаменела и растерянно переносила испуганные взоры с сына у аналоя на плачущего отшельника, с Зосимы на гостей. Благообразное лицо посадника выражало больше, чем изум-

²⁸ К и о т – божница, собрание икон в переднем (красном) углу комнаты.

²⁹ А н а л о й – высокая подставка, на которую при богослужении кладутся церковные книги для чтения; в богатых домах ставился перед киотом при отправлении здесь священником служб (освящении дома, рождении ребенка и т. д.).

³⁰ То есть на постоянно возжигаемую во время богослужения свечу во здравие.

³¹ То есть после смерти, на помин.

ление: он с ужасом видел, что совершается что-то такое, чего он ни ожидать, ни предотвратить не мог... А что означают эти слезы угодника? Они не к добру... Он вспомнил, что недавно видели, как у Ефимья в церкви текли слезы по лику Богородицы, как плакала икона Николы-чудотворца на Никитской улице, как плакали «топольцы» на Федоровой улице... Затеваётся страшное дело для Новгорода... Он с боязнью и с горьким укором в душе взглянул на Марфу... «Все это бабой бес играет на пагубу нам... Баба погубила Адама-прародителя – погубит и Великий Новгород... Боже, не попусти!»

А Зосима все плакал, да все горше и горше, словно бы у него душу разрывали на части... Даже безумное лицо слепца Тиши выразило испуг.

Вдруг под окнами послышался конский топот и тотчас же замер у крыльца дома Борецких.

Все переглянулись испуганно, перенесли глаза на двери...

«Что это? кто?.. не гонец ли?.. откуда? с какими вестями?..»

Дверь отворилась, и в палату вошел «некий муж не велик гораздо», с бородою, заиндевевшею снегом, и с длинным мечом у кожаного, с набором, пояса. Он перекрестился торопливо, поклонился, тряхнул волосами...

– Тутай будет господин посадник?

– Яз есми посадник Господина Великого Новаграда. А ты, человече, кто еси?

– Я гонец из Пскова – новугородец.

– С какими вестями?.. От веча?

– С недобрыми, господине... Не от веча, а сам от себя – ради Новгорода да Святой Софии...

Все гости понадвинулись к прибывшему. Марфа, видимо, все более и более приходила в смущение и вопросительно поглядывала на старшего сына.

– Не смущайся, матушка, мы постоим за волю новугородскую, – шепнул он нетерпеливо.

– Сказывай вести – правь свое дело, – сказал посадник гонцу.

Марфа, как бы опомнившись несколько, торопливо взяла со стола пустой серебряный ковш, зачерпнула из братины вина и сама подала чару гонцу.

– Выпей с дороги, человече добрый!

Гонец взял чару, перекрестился и выцедил ее всю в свой усатый рот.

– Спасибо, – кланялся гонец, – болого³²... а то в гортани пересохло.

– Ну, сказывай...

– Ономедни³³ пригнал во Псков посол с Москвы... – начал гонец. – Псковичи сзвонили вече... Ладно – болого... Посол-от и говорит на вече: великий-де князь велел мне сказать вам, псковичам, отчине своей, коли-де Великой Новгород не добьет мне челом о моих старинах, ино отчина моя Псков послужил бы мне, великому князю, на Великой Новгород за мои старины.

Точно гром разразился у всех над головами. Никто не шевелился, кругом воцарилась мертвая тишина. Слышны были только тихие, сдержанные, но страстно глухие всхлипывания. Это плакал Зосима с тихим шепотом: «Что видел я, Боже... О! ужасеся душа моя... ужаса исполнено видение сие... без голов»...

Гонец передохнул, с боязнью глядя на плачущего старца.

– И что ж – на чем положил Псков? – хрипло спросил посадник.

– Положил стоять за великаго князя – послов послать в Великой Новгород бить челом Москве о миродокончальной грамоте³⁴...

– О миродокончальной?..

³² Б о л о г о – благо, добро, доброе дело.

³³ Ономедни (намедни) – то есть оными днями, на днях.

³⁴ Миродокончальная грамота – заканчивающая какие-либо события миром.

– А тако ж и об разметных³⁵ вече шумело... точно – болого – о миродокончальной и о разметной...

– А! Разметной!.. Вон оно что! Холопы! – И посадник оглянул все собрание. Глаза его упали на Марфу, потом на плачущего Зосиму, снова на Марфу...

– Звоните вече! Послатъ вечново звонаря звонить на всю землю новгородскую!

– На вече! На вече! – повторили все в один голос.

Через несколько минут над Новгородом и его окрестностями разносился в воздухе звонкий, резкий, точно человеческим голосом стонущий крик вечевого колокола.

³⁵ *Разметная грамота* – разрывающая прежние отношения или договоренности.

Глава III

Предсказания кудесницы

Не успели еще гости разойтись из дома Борецкой и отправиться, по призыву вечего колокола, на вече, как кто-то торопливо вышел из этого дома и, нахлобучив на самые глаза бобровую шапку, а также подняв меховой воротник «мятели»³⁶, чтоб не видно было лица, скорыми шагами направился по берегу Волхова, вверх, по направлению к Ильмену. Из-за поднятого воротника мятели виднелся только конец рыжей бороды да из-под бобровой шапки выбивалась прядь рыжих волос, которую и трепал в разные стороны переменчивый ветер. Прохожий миновал таким образом весь Неревский конец, оставил за собою ближайшие городские сады и огороды, спускавшиеся к Волхову, прошел мимо кирпичных сараев и гончарен и достиг старых каменоломен, уже брошенных, где брали камень на постройку новгородских церквей, монастырей и боярских хором очень давно, еще при первых князьях, вскоре после «Перунова века»³⁷.

Здесь берег был высокий, изрытый, со множеством глубоких пещер, из которых многие уже завалились, а другие зияли между снегом, как черные пасти.

И здесь прохожий невольно, с каким-то ужасом остановился. Ему почудилось, что точно бы под землею или в одной из пещер кто-то поет. Хотя голос был приятный, женский, почти детский, но в этом мрачном уединении он звучал чем-то страшным...

– Чур, чур меня! – невольно пробормотал прохожий, крестясь испуганно и прислушиваясь.

Таинственное пение смолкло.

– Ноли старая чадь так поет – кудесница? С нами крест святой...

Но в эту минуту невдалеке послышался другой голос, скрипучий, старческий:

– Ну-ну – гуляй, гуляй... А завтра я тебя съем, – бормотал где-то скрипучий голос.

Волосы, казалось, стали живыми и задвигались под шапкою прохожего...

Бомм!.. Раздался вдруг в городе первый удар вечего колокола. Голос его, словно живое что-то, прокатился по воздуху и ему – как бы что-то живое – отвечало глухим откликом в пещерах...

– Го-го-го! Заговорил Господин Великий Новгород! – опять послышался тот же старческий голос. – А коли-то смолкнет...

Точно в бреду каком прохожий двинулся вперед к каменному выступу и опять остановился. Внизу, на Волхове, у треугольной проруби, середина которой была покрыта соломой, на льду, боком, опираясь на клюку, стояла старуха и глядела в прорубь...

– Кричи, кричи, матка, созывай пчелок... А кому-то медок достанется?

Старуха потыкала клюкой в прорубь, погрозила кому-то этой клюкой в воду...

– Гуляй, гуляй, молодец, покуль я тебя не съела, а мальцов ни-ни! Не трогай...

Старуха оглянулась и с изумлением уставилась своими глубоко запавшими глазами в неподвижно стоявшего на берегу прохожего. Голова ее, покрытая чем-то вроде ушастого малахая, тряслась. Одежда ее, вся в разноцветных заплатках, напоминала одеяние скомороха.

Прохожий снял шапку и показал свою большую, обильную рыжими волосами голову.

– Фу-фу-фу-фу! Русским духом запахло! – тем же скрипучим голосом проговорила старуха. – Опять рыжий... рудой волк...

«Рудой волк», надев шапку, хотел было спуститься с берега.

– Стой, молодец! – остановила его старуха. – Дела пытаешь ци от дела лытаешь?

³⁶ М я т е л ь – или мятль, что-то вроде полушубка.

³⁷ То есть после принятия христианства при Владимире Святом (988 г.).

– Дела пытаю, бабушка, – отвечал рыжий. – К твоей милости пришел.

– Добро! Пойдем в мою могилку...

По узенькой тропинке старуха поднялась на берег и, поравнявшись с пришельцем, пытливо глянула ему в очи своими сверкавшими из глубоких впадин черными, сухими глазами. Острый подбородок ее шевелился сам собою, как будто бы он не принадлежал ее серьезному, сжавшемуся в бесчисленные складки лицу.

– Иди за мной, да не оглядывайся, – сказала она и повела его к ближайшей пещере, вход в которую чернелся между двух огромных камней.

Пришлец последовал за нею. Согнувшись, он вошел в темное отверстие и остановился. Старуха три раза стукнула обо что-то деревянное клюкой. Словно бы за стеной послышалось мяуканье кошки... Пришлец дрогнул и задержал дыхание, как бы боясь стука собственного сердца...

Старуха пошуршала обо что-то в темноте:

– Отворись-раскройся, моя могилка.

Что-то скрипнуло, будто дверь... Но ничего не было видно. Вдруг пришлец ощутил прикосновение к своей руке чего-то холодного и попятился было назад.

– Не бойся, иди... – Старуха потянула его за руку.

Ощупывая ногами землю, он осторожно подвинулся вперед, переступил порог... Опять мяуканье...

– Брысь-брысь, желтый глаз!

Пришлец увидел, что недалеко, как будто в углу, тлеют уголья, нисколько не освещая мрачной пещеры. Старуха бросила что-то на эти уголья, и пламя озарило на один миг подземелье. Но старуха успела: в руках ее оказалась зажженная лучина, которую она и поднесла к глиняной плошке, стоявшей на гладком большом камне среди пещеры. Светильня плошки вспыхнула, осветив все подземелье.

В один момент произошло что-то необыкновенное, страшное, от чего пришлец хотел бы тотчас же бежать, крестясь в ужасе и дрожа, но ноги отказались служить ему...

Словно бешеный замыкал и зафыркал огромный черный кот с фосфорическими желто-зелеными глазами и стал метаться из угла в угол... Какая-то большая птица, махая крыльями, задела ими по лицу обезумевшего от страха пришлеца и, сев в углубление, уставила на него свои круглые, огромные, неморгающие глаза – глаза точно у человека, а уши торчат, как у кота, – голова, как у ребенка, круглая, с загнутым книзу клювом, которым она щелкает, как зубами... Со всех сторон запорхали по пещере летучие мыши и задевали своими крючковатыми крыльями пришлеца за лицо, за уши, за волосы, которые едва ли не шевелились у него...

На жердях и веревках висели пучки всевозможных трав, цветов, кореньев... Меж ними висели сушеные лягушки, ящерицы, змеи... Страшный кот, вспрыгнув на одну из жердей, сердито фыркал и глядел своими ужасными, светящимися зеленым огнем глазами, как бы следя за каждым его вздохом...

А между тем извне в это страшное подземелье продолжали доноситься медленные, торжественные удары вечного колокола. Казалось, что Новгород хоронит кого-то...

Старуха, что-то копавшаяся в углу, подошла к пришлецу и снова пытливо взглянула ему в глаза.

– Своей волей пришел, добрый молодец?

– Своей, бабушка.

Он испугался своего собственного голоса – это был не его голос... И кот при этом опять замыкал.

– А за каким помыслом пришел?

– Судьбу свою узнать хочу.

– Суд свой... что сужено тебе... И ейный суд?

– И ейный тако ж, бабушка... И Марфин.

– И Марфин?

– Точно... какова ее судьбина?

– Фу-фу-фу! – закачала своею седою головой старуха. – Высоко сокол летает – иде-то сядет?..

Старуха подошла к страшной птице – то была сова – и шепнула ей что-то в ухо. Сова защелкала клювом...

– А?.. На ково сердитуешь? На Марфу ци на Марфину сношеньку молодую?

Сова опять защелкала и устала свои словно бы думающие глаза на огонь.

– Для чего разбудили старика? – обратилась вдруг старуха к пришлецу.

Тот не понял ее вопроса и молчал.

– Вече для чево звонят? – переспросила она вновь, прислушиваясь к протяжным ударам колокола.

– Гонец со Пскова пригнал с вестями.

– Знаю... Великой князь на Великой Новгород псковичей подымае и сам скоро на конь всаде...

– Ноли правда?

– Истинная... И ко мне гонцы пригнали с Москвы. Мои гонцы вернее ваших – без опасных грамот ходят по аеру³⁸...

Летучие мыши продолжали носиться по пещере, цеплялись за серые камни, пищали...

– Так суд свой знать хочешь? И ейный – той, черноглазой, белогрудой ластушки?.. И Марфин?.. и Великого Новагорода?

– Ей-ей хочу.

– Болого!.. Сымай пояс.

Тот дрожащими руками распоясал на себе широкий шерстяной пояс с разводами и пышными цветными концами.

– Клади под леву пятау.

Тот повиновался... Опять послышалось невдалеке, словно бы за стеною, тихое, мелодическое женское пение.

– Что это, бабушка?

– То моя душенька играе... А топереве сыми подпояску с рубахи... В ту пору как поп тебя крестил и из купели вымал, он тебя и подпоясочкою опоясал... Сымай ее... клади под леву пятау.

Снята и шелковая малиновая подпояска и положена под левую пятку...

– Сыми топереве крест и положи под праву пятау.

Руки, казалось, совсем не слушались, когда пришлец расстегивал ворот рубахи и снимал с шеи крест на черном гайтане³⁹... Но вот крест положен под правую пятку.

Неведомое пение продолжалось где-то, казалось, под землей. Явственно слышался и нежный голос, и даже слова знакомой песни о «Садко – богатом госте»:

И поехал Садко по Волхову,
А со Волхова в Ильмень-озеро,
А со Ильменя-ту во Ладожско,
А со Ладожска в Неву-реку,
А Невою-рекой в сине море...

³⁸ По воздуху; старуха имеет в виду своих гонцов-голубей.

³⁹ Гайтан – шнурок.

Послышался плеск воды, а потом шепот старухи, как бы с кем-то разговаривавшей...
«Ильмень, Ильмень, дай воды Волхову... Волхово, Волхово, дай воды Новугороду...»

Старуха вышла из угла, подошла к своему гостю, держа в руках красный лоскут.

– Не гляди глазами – слушай ушами и говори за мной...

И старуха завязала ему красным лоскутом глаза.

– Сказывай за мной, добрый молодец, слово по слову, как за попом перед причастьем.

И старуха начала нараспев причитать:

Встаю я, добер молодец, не крестясь,
Умываюсь, не молясь.
Из ворот выхожу —
На солнушко не гляжу,
Иду я, добер молодец, лесами-полями,
Неведомыми землями,
Где русково духу не слыхано,
Где живой души не видано,
Где петух не поет,
Ино сова глас подает, —
Под нози Христа метая,
Суда свою пытаю...

Несчастный дрожал всем телом, повторяя эти страшные слова. Кудесничество и волхование в то время пользовались еще такою верою, что против них бессильны были и власть, сама веровавшая кудесникам, и церковь, допускавшая возможность езды на бесах, как на лошадях, или на ковре-самолете... Давно ли преподобный Иоанн успел слетать на бесе в Иерусалим в одну ночь?..⁴⁰ Послышался стон филина...

– Слышишь?

– Слышу...

– Топерево самая пора... пытай судьбу... Спрашивай!

– Что будет с Великим Новгородом?

– Был Господин Великий Новгород – и не будет ево... Будет осударь...

– Какой государь?

– Православной.

– Так за нево стоять?

– За тово, кто осударем станет.

– А какой суд ждет Марфу?

– Осударев суд.

– А Марья будет моя?

– Коли Новгород осударев будет, ино и Марья твоя.

– А люб ли я ей?

– Ожели бы не люб, не приходила бы она ко мне пытать о тебе.

– Ноли она была у тебя?..

У вопрошающего ноги подкашивались. Он готов был упасть и силился сорвать повязку с глаз.

– Не сымай! Не сымай! – остановила его старуха.

⁴⁰ Речь идет о событиях, описанных в «Житии святого Иоанна, архиепископа Новгородского» в главе «О великом святителе Иоанне, архиепископе Великого Новгорода, как он за одну ночь попал из Новгорода во Иерусалим-град и снова возвратился той же ночью в Великий Новгород».

Она сняла с жерди пучок каких-то сухих трав и бросила на тлевшие в углу уголья. Угли вспыхнули зеленым пламенем, и по пещере распространился удушливый, одуряющий запах. Затем старуха прошла в какое-то темное отверстие в углу пещеры и через минуту воротилась, но уже не одна: с нею вышла молоденькая девушка и остановилась в отдалении. Кот, увидав ее, спрыгнул с жерди, на которой все время сидел; распушив хвост, подошел к девушке и стал тереться у ее ног.

– Смотри на свою суженую – вон она! – сказала старуха и сорвала повязку с глаз своей жертвы.

Тот глянул, ахнул и как сноп повалился на землю...

Глава IV

Бурное Вече

Долго, не умолкая ни на минуту, гудел вечевой колокол. Станный голос его, какой-то кричащий, подмывающий, не похожий ни на один колокольный голос любой из множества новгородских церквей и соборов разносился над Новгородом, то усиливаясь и возвышаясь в одном направлении, над одними «концами» города, то падая и стихая над другими, смотря по тому, куда уносил его порыв ветра, дувшего, казалось, то с московской, то со псковской, то с ливонской стороны...

«Вечный» звонарь, одноглазый, сухой и сморщенный старичок, которому один глаз еще в детстве отец его, тоже «вечный» звонарь, нечаянно выхлестнул веревкою, привязанною для звона к язычку вечевого колокола, без шапки, с мятущимися по ветру седыми, редкими волосенками, с восторженным умилением на старческом лице, точно священнодействуя, звонил, ни на миг не переставая, качая железный язык из стороны в сторону, колотя им об медные, сильно побитые края колокола, который вздрагивал и кричал словно от боли и которого стоны заглушал новый удар железного языка, и он опять вздрагивал и кричал – кричал как живой человек, как раненый или утопающий, а подчас как плачущая женщина. «Вечный» звонарь хорошо изучил натуру и голос своего колокола, изучал его всю жизнь и умел заставить его кричать таким голосом, какого ему хотелось, какого ожидал от него Господин Великий Новгород – тревожного, радостного, набатного или унылого.

Теперь он кричал тревожно. «Вечный» звонарь знал, по какому поводу созывается вече: ему впопыхах поведали о том отроки, прибежавшие от посадника, прямо с Марфина пира, и велевшие звонить вече. «Москва на нас собирается!» – «Псков поломал крестное целованье – миродокончальные грамоты разметывает...»

На голос призывного колокола новгородцы, уже несколько соснувшие после избрания нового владыки и после раннего обеда, спросонья бежали на вече, к Ярославову дворищу, словно на пожар: кто без шапки и пояса, кто с едва накинутым на одно плечо кафтаном или однорядкою⁴¹. Двери, ворота и запоры по всему Новгороду хлопали, визжали и скрипели словно испуганные, собаки лаяли, людской говор несся волнами, как и сам народ, со всех пяти «концов» и улиц, запружая узкие улицы и мосты, валом валит напрямки через Волхов по льду, оглашая воздух криками, вопросами, руганью, неведомо кому и неведомо за что, и подчас звонким смехом и веселыми шутками.

– Новаго владыку вечем ставить – Пимена!

– Ой ли? А чи Феофил не люб?

– Не люб... Московской руки...

– Немцы, може, идут на нас?

– Где – немцам? Москва, сказывают...

Скоро вечевую площадь и помост запрудили народные волны. Вечевой колокол умолк и только тихо стонал, замирая в воздухе. Звонарь, набожно перекрестившись и перекрестив колокол, потянулся к нему своими мозолистыми, корявыми руками и стал ими гладить края все еще тихо стонавшей меди, как бы лаская что-то милое, родное, дорогое ему.

– Утомился, мой батюшко, колоколец мой миленькой, утомился, родной, – любовно бормотал он. – Ну, ино отдохни-передохни, кормилец мой, колоколушко вечной... Ишь как тяжело дышит старина... Ино буде, буде стонать, батюшко...

⁴¹ О д н о р я д к а – долгополый, однобортный кафтан без ворота.

Потом старик, привязав конец колокольной веревки к балясине, оперся руками о перила башенного окна и стал смотреть на вече, на площадь, затопленную народными волнами. Зрелище было поразительное: виднелись сплошные массы голов, шапок, плеч – плечо к плечу, хоть ходи по ним от одного конца площади до другого.

– Ишь дитушки мои новугородци – экое людо людное... Совокупилися дитки у единой матки... Голов-то, голов-то что!

Внизу, на вечевом помосте, отчетливо выделялись фигуры посадника и гонца, пригнавшего из Пскова. Седая голова посадника сверкала на солнце серебряным руном, а золотая гривна горела и словно искрилась, как богатое ожерелье на иконе.

Гонец что-то говорил и кланялся на все стороны. По площади волнами ходил невнятный говор, не то гул, не то рокот волн.

– Господин Великий Новгород сердчать учал, – бормотал про себя звонарь, глядя с высоты на колыхающееся море голов и прислушиваясь к рокоту голосов.

– Ино псковичи на вече приговорили, что-де и Господин Великий Новгород, наш старший брат, нам-де и не в брата место стал, – доносился голос гонца.

– Хула на святую Софию!.. Не потерпим, братцы, таковые хулы!..

– Сором Великому Новгороду от молодчаго брата!

– Всядем, братцы, на конь за Святую Софию, и за дома Божии, и за честь новгородскую! – вырывались голоса из толпы, и площадь колыхалась, как бор под ветром.

Посадник заговорил громко и внятно. Он вторично передал собранию содержание вестей, привезенных гонцом из Пскова. Великий князь подымает псковичей на Великий Новгород, не предупредив его об этом. Он ищет воли новгородской – на старину вековую и на Святую Софию пятою наступить умыслил. А Новгород старше Москвы... Новгород старше всех городов русских! В Новгороде сидел Рюрик-князь, прародитель всем князьям русским, когда Москвы еще и на свете не было. Великий князь чинит неправду – обиду налагает на землю новгородскую. Новгород был вольным городом, искони с той поры, как пошла есть Русская земля...

Долго говорил посадник, обращая речь свою на все стороны. Но осторожный правитель новгородской земли не ставил вопрос ребром: он только излагал положение дел, говорил о грозившей Новгороду опасности, спрашивал, что ему делать – бить ли великому князю челом об его старинах⁴², виниться ли ему в своей грубости и просить опасной грамоты⁴³ новому владыке, чтобы ехал в Москву на ставленье?

– Говори свою волю, Господине Великий Новгород! – закончил он свою речь. – На чем ты постановишь, на том и пригороды⁴⁴ станут.

Он смолк и низко кланялся на все стороны.

Казалось, что разом прорвалась давно сдерживаемая плотина, и бушующие волны с ревом, шумом и невообразимым клокотанием ринулись с гор в долину и все топили, ломали, сносили с мест и уносили неведомо куда. Сначала слышались только рев и стон. Отдельные возгласы и речи стали выделяться уже после...

– Ишь разыгралось Ильмень-озеро! – качал головою звонарь. – Распалились дитушки новугородци. Фуфу-фу!

Новгородцы действительно распалились. Звонарь ждал, что тотчас же разразится буря, которую не раз доводилось наблюдать на своем веку этому старому сторожу «вечного гласа» с высоты своей исторической колокольни. Это бывало тогда, когда народ – эта самодержавная

⁴² То есть о старых обычаях.

⁴³ *Опасная грамота* – охранная, обережная грамота.

⁴⁴ Городок, приписанный к городу. Впрочем, «пригородами» Новгорода Великого, кроме городков малых и ближних, в разное время были и Пермь, и Вологда, и даже Псков.

сила древнейшей севернославянской республики – «худые мужики-вечники», выведенные из терпения какими-либо неправильными илиотягощающими их быт действиями или распоряжениями правящих властей и богатых людей, подымали бурю на вече, стаскивали провинившихся против верховной власти народа ораторов с вечевого помоста, били и истязали их все-народно, бросали с моста в Волхов, а потом грабили их дома – грабили целые «концы» или «улицы», разжившихся на счет самодержавного народа бояр, посадников и тысяцких и, так сказать, своими кулаками, камнем и дубьем делали поправку в законах своей оригинальной, мужицкой, чисто русской республики. Не сделали власти того, чего хотел народ, – и этот самодержавный мужик тут же, на вече, расправлялся с властями, заменял их новыми, направлял дела новгородской земли туда, куда желала державная воля народа, и тут же ревом тысяч глоток изрекал свое державное «быть по сему».

Но «вечный» звонарь с высоты своей колокольни видел, как в толпе ходили несколько человек, хорошо одетых, и что-то горячо говорили народу. Звонарь узнал между ними сыновей Марфы-посадницы, а также Арзубьева, Селезнева-Губу и Сухощека. Старик улыбнулся...

– Все это Марфутка мутит... бес баба! Знала бы свое кривое веретено; так нет – мутит...

– Не хотим московского князя! Мы не отчина его! – выделялись отдельные голоса из общего народного рева.

– Мы вольные люди – как и земля стоит!

– Мы Господин Великий Новгород! Москва нам не указ!

– За Коземира хотим за литовского... К черту Москву!

– Не надоть для владыки опасной грамоты от Москвы! Пускай идет на ставленье в Киев.

Никто не смел перечить расхोлившемуся народу. Посадник, тысяцкие и старосты, люди степенные и богатые, сбившись в кучу под вечевой башней, стояли безмолвно. У посадника, когда он поправлял, по привычке, золотую гривну на груди, рука дрожала заметно.

Откуда ни возьмись на помосте появилась рыжая голова – на плотном туловище всем известного новгородца. Волосы его казались золотыми на солнце, а небольшие черные глазки, казалось, смотрели через головы народа и искали кого-то вдали.

Это был Упадыш, человек бывалый, хотя не старый, не раз езжавший в Москву и имевший там знакомство.

Он, по русскому обычаю, тряхнул волосами и поклонился на все стороны.

– Повели мне, Господине Великой Новгород, слово молвить, – заговорил он, снова кланяясь.

– Упадыш ричь держит! Послушаем-кошь, что Упадыш скажет.

– Помолчите, братцы!

– Долой Упадыша!

– Врешь!.. Говори-сказывай, Упадыш, держи свою ричь!

– Сказывай, сказывай!

Эти голоса осилили. Упадыш снова тряхнул волосами, снова поклонился.

– Братие! Господине Великой Новгород! Нельзя тому быть, как вы говорите, чтоб нам даться за короля Коземира и поставить себе владыку от ево митрополита-латынина. Из начала, как и земля наша стоит, мы отчина великих князей...

– Не отчина мы их! Врет Упадыш!

– Отчина! Он правду говорит!

– От первого великаго князя Рюрика – мы отчина их. Князя Рюрика из варяг избрала наша земля новгородская, а правнук Рюриков, Володимер, князь киевской, крестился от греков и крестил всю русскую землю, и нашу, словенскую-ильменьскую, и вескую-белозерскую, и кривскую, и муромскую, и вятичей... – продолжал Упадыш, несмотря на ропот народа.

– А Москвы ту пору и в заводе не было, а вон она ноне верховодить нами хочет...

– Не бывать тому! Не видать Москве Новгорода как ушей своих!

– Братие новгородцы! – выкрикивал Упадыш. – И мы, Великой Новгород, до нынешних времен не бывали за латиною и не ставляли себе владыки от Киева⁴⁵. Как же топереве хотите вы, чтоб мы поставили себе владыку от Григорья?.. Григорий – ученик Исидора-латинина⁴⁶.

– К Москве хотим! К Москве, по старине, в православие.

Вдруг мелькнуло белое – снежный ком вцепился Упадышу.

– Разбойники! – крикнул он, хватаясь за голову...

Снежки полетели со всех сторон. Они обсыпали всех стоявших на помосте у вечевой башни. Крики усилились. Старик звонарь оглянулся на свой колокол, и лицо его озарилось радостной улыбкой.

– Ах, колоколушко мой, колоколец родной!.. Нет! Не отдам тебя Москве. Голову за тебя положу, а не отдам...

И он снова глянул на площадь, где гул и крики усиливались.

– Не давайтесь Москве, детушки, не давайтесь, – бормотал старик. – Мути, Марфуша, мути вечников – не давай их Москве... И-и, колоколушко мой!..

На площади уже почти не видно было ни голов, ни плеч мужицких – в воздухе махали только руки, да кулаки, да снежки – самодержавный мужик готов был стереть с лица земли все, что противилось его державной воле...

Но в этот момент посадник, словно бы выросший на целую четверть, обратился к вечевой башне и махнул своею собольею шапкой...

Звонарь хорошо знал этот немой приказ посадника. Он торопливо ухватился за колокольную веревку и – точно помолодел! Он знал, что одного движения его старой руки достаточно, чтобы в один миг улеглась народная буря.

– Ну-ко заговори, колоколушко мой, крикни...

И вечевой колокол крикнул. Затем еще раз... еще... еще... Медный крик пронесся опять над площадью и над всем городом. Народная буря стихла – поднятые кулаки опустились.

Посадник выступил на край помоста. Он был бледнее обыкновенного. В душе он чувствовал, что, быть может, решается участь его родины, славного и могучего Господина Великого Новгорода... На сердце у него и в мозгу что-то ныло – слова какие-то ныли и щемили в сердце... «Марфо! Марфо!» – невольно звучало в ушах его евангельское слово⁴⁷ – и ему припоминалась эта, другая, Марфа, которую, казалось, Бог в наказание послал его бедной родине... «Проклятая Марфа!..» И перед ним промелькнули годы, промелькнула его молодость, а с нею обаятельный образ этой «проклятой Марфы» во всей чудной красоте девичества... «Проклятая, проклятая...»

Он вскинул вверх свою серебряную голову, чтоб отогнать нахлынувшие на него видения молодости... А колокол все кричал над ним... Он глянул туда, вверх, и два раза махнул шапкой. Колокол умолк, точно ему горло перехватило, и только протяжно стонал... Над вечевым помостом кружился белый голубь...

⁴⁵ То есть архиепископы новгородские утверждались Московской митрополией, а не «подпавшей под Литву» Киевской...

⁴⁶ Здесь некоторая неточность во времени: если следовать самой этой мысли о том, кто из них был «учителем», а кто «учеником», то утверждать надо обратное... Киевским митрополитом Григорий (Цамблук) был поставлен собором православных епископов Литовского княжества в 1415 г. в Вильнюсе по настоянию князя Витовта. Чем было положено начало разделения единой до этого времени Русской церкви на западнорусскую (большая часть территории нынешней Украины и Беларуси) митрополию с центром в Киеве и московскую митрополию. Митрополитом последней, согласно традиции, и был ставленник православной константинопольской патриархии Исидор. Но грек Исидор в 1439 г. от имени московской митрополии собирався подписать соглашение константинопольской патриархии с Ватиканом (Флорентийскую унию), не понимая тогдашней государственной подоплеку столкновений православия и католицизма на Руси, и едва спасся бегством из Москвы в Литву.

⁴⁷ Автор сравнивает яростную Марфу-посадницу с Марфой, женой мироносицей, вместе с другими женщинами (Марией Магдалиной, Марией Клеоповой, Саломией, Иоанной, Марией), несших миро (священное масло), чтобы предать мертвого Христа обряду миропомазания.

– Господо и братие! – прозвучал взволнованный голос посадника. – Вижу, Господине Великий Новгород, нет твоей воли стать за князя московского, за его старины...

– Нет нашей воли на то!

– За короля хотим! За Коземира!

– Мы вольные люди, и под королем тоже наши братья, русь – тож вольные люди!

– Да будет твоя воля, Господине Великий Новгород, – продолжал посадник, когда несколько смолкли крики. – За короля – так за короля. И тогда подобает нам с королем договорную грамоту написать и печатями утвердить...

– Болого! Болого! На то наша воля!

– Ниту нашей воли, ниту! – кричали сторонники Москвы.

– Не волим за короля! Не волим за латынство!

– За православие волим. За старину!

Но их голоса покрыты были ревом толпы:

– Не хотим в московскую кабалу! Мы не холопи!

– Бей их, идоловых сынов! С мосту их...

Опять полетели в воздухе комья снега, а с ними и камни. Опять тысячи рук с угрозой махали в воздухе. Народ двигался стеною, давя друг дружку. Противная сторона посунулась назад; но дальше идти было некуда. Свалка уже начиналась на правом и на левом крыле, где первые натиски толпы приняли на себя рядские молодцы и рыбники, защищавшие интересы торговых людей и свои собственные.

– Братцы кончане, за мною! – кричал богатырского роста рыбник с Людина конца. – Бей их, худых мужиков-вечников!

– Не дадим себя в обиду, братцы уличане!

– Лупи, братцы, серых лапотников!

– Разнесем их, гостинных крыс! Разнесем Перуньевы семена! – отвечали «серые» вечники.

Русский народ мастер биться на кулачки, а новгородцы по этой части были мастера первый сорт: всю зиму, по большим праздникам и по воскресным дням, а равно на широкую Масленицу, после блинов, на Волхове, на льду, сходилась чуть не весь Новгород – и начинался «бой-драка веселая». Конец шел на конец, Нервской конец на Людин, Славенский на Плотницкий, Околоток на Загородный конец... А там сходились улица с улицей – и кровопролитье из носов шло великое: ставились фонари под глазами, сворачивались на сторону скулы-салазки, доставалось «микиткам» и ребрам... В порыве крайнего увлечения Торговая сторона шла лавой на Софийскую, и тогда в битве участвовали не одни молодцы рядские, рыбники да мужики-вечники, а выступали солидные «житые люди», и бояре, и гости – молодое и старое...

Такую картину разом изобразило из себя вече в этот достопамятный день. Богатырь рыбник схватил за ноги тщедушного тяглеца пидблянина⁴⁸ и стал махать им направо и налево, словно мешком, и приговаривать из былины:

Захватил Илья тут за ноги татарина,
Стал кругом татарин помахивать:
Где махнет – там улица татаровей,
Отмахнется – с переулками...

Но «серые лапотники» навалились массой на рыбников и рядских молодцов, отбили мужичка, которого рыбник замахал и заколотил чуть не до смерти, приперли своих противни-

⁴⁸ Крестьянина из подгороднего, на Ильмене, села Пидбляны.

ков к стенам, ринулись, как звери, и на самих торговых и степенных людей и превратили вече в чистое побоище.

Тщетно все старосты концов, сотники и тысяцкие, размахивая своими должностными знаками – бердышами и почетными палицами, крича и ругаясь, силились остановить побоище – оно разгоралось все сильнее и сильнее. Напрасно кричал посадник, грозя сложить с себя посадничество – его голоса никто не слышал.

Один «вечный» звонарь радовался, глядя с своего возвышения на побоище, к которым он так привык и которые с детства умиляли его вольную новгородскую душу...

– Так их, песьих детей, так, детушки! Не продавай воли новгородской!.. Крепче! Крепче!

Мужики одолевали. Там, где недавно богатырь рыбник махал на все стороны тяглемом, уже не видно было этого богатыря: осиливаемый «вечниками», которые цеплялись за него, как собаки за раненого медведя, он сгреб разом троих мужиков и повалился с ними на землю, другие бросились – кто на него, кто за него, тут же падали в общей свалке, сцепившись руками и ногами или таская друг друга за волосы, и катались клубками; на них лезли и падали третьи, на третьих четвертые, так что над рыбником и его жертвами образовалась целая гора-курган из вцепившихся друг в дружку борцов, тузивших друг друга по всей площади, постоянно путались потерянные в бою шапки, рукавицы, пояса; тут же краснели, чернели и рыжели на снегу лужи выпущенной из носов крови и клочки «брад честных»...

Но этого мало. У Господина Великого Новгорода, как и Древнего Рима, имелась своя Тарпейская скала – для сбрасыванья с нее всех провинившихся перед державным городом: такую Тарпейскую скалу в Новгороде заменял «великий мост», соединявший Софийскую сторону с Торговой, мост, с которого когда-то новгородцы свергнули в Волхов своего бога – идолище Перунище...

Этому богу с этого самого моста новгородцы постоянно приносили потом человеческие жертвы...

– С мосту злодеев! – кричали осилившие мужики.

– На мост! К Перунищу их!

– Волоки Упадыша! Он заварил кашу, он мутит Москвой.

За волосы, за руки, за ноги, избитые и окровавленные, волоклись уже некоторые жертвы державного гнева. Все повалило за этой страшной процессией, чтобы посмотреть, как будут «злодеев» сбрасывать с моста... Зрелище достолюбезное! Красота неизглаголанная!..

– Поволокли-поволокли детушки, фу-фу-фу! – радовался с колокольни «вечный» звонарь.

Вдруг раздался детский крик, от которого многие невольно вздрогнули:

– Мама! Мама! Батю волокут с мосту-у!..

В ту же минуту женщина, протискавшись сквозь толпу, стремительно бросилась на одного из влекомых к мосту, обхватила его руками да так и окоченела на нем.

– И меня с ним! И меня с ним! – безумно причитала она.

Но в это время толпы невольно шарахнулись в сторону. От моста, в середину озадаченных толпищ, подняв над головою большой черный крест, с ярко блиставшим на нем серебряным распятием, шел седой монашек. Льяные волосы его, выбивавшиеся из-под низенького черного клобучка, и такая же белая борода трепались ветром и, словно серебряные, сверкали на солнце. Он казался каким-то видением.

– Преподобный Зосима... Зосима-угодник! – прошел говор по площади, где все еще шло побоище.

Это был действительно Зосима соловецкий. Что-то внушительное и страшное виделось в его одинокой фигуре с распятием над головою.

– Детки мои! Народ православный! Что вы делаете? Опамятуйтесь, православные! Не губите души христьянския! Не губите града Святой Софии Премудрости Божия! Почто вы

котораетесь и ратитесь? Почто брат на брата распаляете сердца ваша?... Убейте меня, грешного, меня сверзите с Великого мосту, токмо град свой и души свои не губите...

Толпа оцепенела на месте. «Самодержавный мужик-вечник», превратившийся было в зверя... монашка с крестом испугался!

– Ко мне, детки!.. Кланяйтесь Распятому за ны – его молитесь, да пощадит град ваш... Кланяйтесь знамению сему!

И он осенял крестом испуганные толпы направо и налево... Новгородцы падали ниц и крестились... Буря мгновенно утихла...

– Эхма!.. Не дал доглядеть до конца, – ворчал звонарь, спускаясь с колокольни.

Глава V

«Бес в ребре» у Марфы-посадницы

«Самодержавный мужик» осилил сторонников московской руки. Господин Великий Новгород постановил, а на том и пригороды стали, чтоб от московского князя отстать, крестное целованье к нему сломать, как и сам он его «ежегод» сламливал и топтал под нозе, а к великому князю литовскому и королю польскому Казимиру пристать и договор с ним учинить навеки нерушимо...

– Уж таку-ту грамотку отодрал наш вечной дьяк королю Коземиру, таку отодрал, что и-и-и! – хвастались худые мужики-вечники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговых людей, да рядских молодцов, да рыбников и зарясь на их добро.

– Да, братцы, на нашей улице нониче праздник.

– Масленица, брательники мои, широкая Масленица! Эх-ну-жги-поджигай-говори!

– Не все коту масляница – будет и Великий пост, – огрызались рядские.

Действительно, на том же бурном вече, по усмирении преподобным Зосимою волнения, вечным дьяком составлена была договорная грамота о союзе с Казимиром и вычитана перед народом, который из всей грамоты понял только одно, им же самим сочиненное заключение, – что с этой поры Москве уже не «черной куны»⁴⁹ и никакой дани и пошрины не платит и всякого московского человека можно в рыло, по салазкам и под «микитки»...

– Можно и московским тивунам нониче в зубы...

– Знамо – на то она грамота!

С грамотою этою Господин Великий Новгород отправил к Казимиру посольство – Афонасья Афонасыча, бывшего посадника, Дмитрия Борецкого, старшего сына Марфы, и от всех пяти новгородских концов по житоуму человеку.

Ввиду всех этих обстоятельств мужики-вечники совсем размечтались. Поводом к мечтаниям служили приехавшие с князем Михайлом Олельковичем «хохлы» – княжеская дружина, состоявшая из киевлян. Все это был народ рослый, черноусый, чернобровый и «весь наголо черномаз гораздо». Они были одеты пестро, в цветное платье, в цветные сапоги, высокие шапки с красными верхами и широчайшие штаны горели как жар. Новгородские бабы были без ума от этих статных гостей, а мужики так совсем перебесились от заманчивых рассказов этих хохлатых молодцов. Приезжие молодцы рассказывали, что в их киевской стороне совсем нет мужиков, а есть только одни «чоловики» и «вте» ходят у них так, как вот они, дружинники, – нарядно, цветно и «гарно».

На основании этих рассказов худые мужики-вечники возмечтали, что и они теперь, «за королем Коземиром», будут все такими же молодцами: как эти «хохлы», будут ходить в цветном платье и ничего – «ровно-таки ничевошеньки не делать».

– Уж и конь у меня будет, братцы! Из ушей дым, из ноздрей полымя...

– А я соби, братцы, шапку справлю – во каку!.. Со Святую Софию!

Марфа-посадница торжествовала. Ее любимец сынок, красавец Митрюша, был отправлен к королю Казимиру чуть не во главе посольства...

– Млад-млад выюнош, а поди-на – посольство правит!.. – говорила она своей закадычной «другине» боярыне Настасье Григоровичевой, с которою они когда-то в девках вместе гуливали, а потом, уже и замужем, отай от своих старых, постылых муженьков, с мил-сердечными друзьями возжались. – Во каков мой сынок, мое чадо милое!

⁴⁹ Ч е р н а я к у н а – вид обложения, взимаемого московским князем.

- А все по тебе честь, по матушке, – поясняла ей другиня Настасья. – Ты у нас сокол.
- Какой!.. Ворона старая.
- Не говори... Вон на тебя как тот хохлач свои воловьи буркалы пялит.
- Какой хохлач?.. – вспыхнула Марфа.
- То-то... тихоня... Себе на уме.
- Ах, Настенька, что ты! Не вем, что говоришь.
- Ну-ну, полно-ка... А для кого брови вывела да подсурмилась?
- Что ты! Что ты!.. Для кого?
- А князь-то на что?.. Олелькович.
- Марфа еще более загорелась:
- Стара я уж... бабушка.
- Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь.

Как ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова приятельницы, видимо, нравились ей. Это была женщина честолобивая, привыкшая помыкать всеми. Перебалованная с детства у своих родителей еще, как холеное, «дроченое дитя», которое не иначе кушало белые крупитчатые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души не чаявшие в своей Марфуточке, уверяли свое «золотое чадушко», что калачик «отнят у зайиньки серенького», которое пило молочко только от «коровушки – золотые рога» и спало в своей раззолоченной «зыбочке» тогда только, когда ее убаюкивал и качал какой-то сказочный «котик – серебряны лапки», – потом перебалованная в молодости своею красотой, на которую «ветердохнуть не смел», а добрые молодцы от этой красоты становились «аки исступленные», перебалованная затем посадником Исачком, за которого она вышла из тщеславия и который «с рук ее не спускал, словно золот перстень», но которым она помыкала, как старою костригою в трепалке⁵⁰; избалованная, наконец, всем Новгородом, льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, – Марфа обезумела: Марфе был, что называется, черт не брат! Что-то забрала она себе в свою безумную, с «долгим волосом» голову...

- Уж попомни мое слово: быть тебе княгинею... – настаивала приятельница.
- И точно: княгинею новгородскою и киевскою!
- Почто, милая, киевскою?
- А как же?.. Он, хохлач-то, будет киевским князем, а я с ним...

И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и досадливо хрустнула пальцами:

- Что уж и молоть безлепично!.. Я вить давно и сорокоуст справила.
- По ком, Марфуша? – удивилась Настасья.
- По соби, мать моя.
- Как «по соби»?.. Я не разумею тебя.
- Да мне давно сорок стукнуло... А сорок лет – бабий век!
- Токмо не про тебя сие сказано.

Приятельницы сидели в известном уже нам «чюдном», по выражению летописца, доме Борецких, что стоял на Побережье в Неревском конце и действительно изумлял всех своим великолепием.

Марфа то и дело поглядывала своими черными, с большими белками глазами то в зеркало – медный, гладко отполированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, – то в окно, из которого открывался вид на Волхов. Там шли святочные игрища: ребятишки Господина Великого Новгорода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая из себя

⁵⁰ К о с т р и г а (кострика) – жесткая кора льна или конопли, остающаяся после их трепания и чесания как нежелательная, – на удалении этой кострики построен автором образ.

то «ушкуйников», то дружину Васьки Буслаева⁵¹, а парни и девки – золотая молодежь новгородская – просто веселилась. Или, по словам строгого старца Памфила, игумена Елизаровой пустыни, «чинили идольское служение, скверное возмятие и возбешение: и в бубны и в сопели игранье, и струнное гудение, и всякие неподобные игры сатанинские, плескание руками и ногами, плясание и неприязнен клич – бесовские песни; жены же и девы – и главами кивание и хребти вихляние...»

Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда взор ее из комнаты, где она сидела с своей другиней, переносился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цветными массаами. Словно бы живой сад, полный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу... Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хватавшая за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться. Картина эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совершать это «кумирское празднование», греховное, «сатанинское», но тем более для сердца сладостное... А теперь уж ни «главою кивание», ни «хребтом вихляние» – не к лицу ей; а если что и осталось еще, так разве «очами намизание» – вон как эта Настя говорит, будто бы она своими красивыми очами заигрывает с «воловыми буркалами» этого хохлача князя...

– Ах, скоморохи! Смотри, Марфуша, в каких они харях! И гусли у них, и бубны, и сопели и свистели разны...

– Вижу. То знамые мне околоточные гудошники.

– Знаю и я их... Еще нам ономедни действо они творили, как гостище Терентьище у своей молодой жены недуг палкой выгонял... А недуг-то испужался и без портов в окно высигнул.

Приятельницы переглянулись и засмеялись – молодость вспомнили...

В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазенький мальчик лет пяти-шести. На нем была соболья боярская шапочка с голубым верхом, бархатная шубка – «мятелька», опушенная соболем же, голубые сафьянные сапожки и зеленые рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а черные как смоль волосы, подрезанные скобой на лбу, выбивались из-под шапочки и кудряшками вились у розовых ушей. За собою мальчик тащил раззолоченные сусальным золотом салазки с резным на передке коньком.

– Баба-баба, пусти меня на Волхов, – бросился мальчик к Марфе.

– Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? – ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее.

– С робятками катацца... Пусти, баба.

– Со смердьими-ту дитьми? Ни-ни!

– Ниту, баба, – не со смердьими – с боярскими... Вася-посаднич... Гавря-тысячков... Пусти!

– Добро – иди, да токмо с челядью...

Мальчик убежал, стуча по полу салазками.

– Весь в тебя – огонь малец, – улыбнулась гостя.

– В отца... в Митю... блажной.

Скоро приятельницы увидели в окно, как этот «блажной» внучок Марфы уже летел на своих раззолоченных салазках вдоль берега Волхова. Три дюжих парня, словно тройка коней, держась за веревки, бежали вскачь и звенели бубенчиками, наподобие пристяжных, откидывая головы направо и налево, а парень в корню даже ржал по-лошадиному. Маленький боярчонок вошел в роль кучера и усердно хлестал по спинам своих коней шелковым кнутиком. За ним поспешали с своими салазками «Вася-посаднич» да «Гавря-тысячков».

⁵¹ У ш к у й н и к и – от названия новгородской ладьи – ушкуй; на ушкуях новгородские, обычно из молодежи, дружины совершали грабительские походы на Низ – на Волгу. Васька Буслаев – герой одноименной новгородской былины – был олицетворением ушкуйничества.

- А вон и сам легок на помине.
- Кто, Настенька? – встрепенулась Марфа.
- Да твой-то...
- Что ты, Настенька... Кто?
- Хохлач-то чумазий...
- А-ах, уж и мой!

Действительно, в это время мимо окон, где сидела Марфа с своею гостью, проезжал на статном вороном коне князь Михайло Оленькович. Он был необыкновенно картинен в своем литовском, скорее киевском одеянии: зеленый зипун с позументами на груди, верхний опашень с откидными рукавами, с красной подбойкой и с красным откидным воротом; на голове – серая барашковая шапка с красным колпаком наверху, сдвинутая набекрень. За ним ехали два вершника в таких же почти одеждах, но попроще, зато в широчайших, желтых, как цветущий подсолнух, штанах.

Проезжая мимо дома Борецких, князь глядел на окна этого дома, и, увидав в одном из них женские лица, снял шапку и поклонился. Поклонились и ему в окне.

- Ишь буркалищи запускает. Ух!
- Это на тебя, Настенька, – отшутилась Марфа.
- Сказывай! На меня-то, курносату репу...

Белобрысая и весноватая приятельница Марфы была действительно неказиста. Но зато богата: всякий раз, как московский великий князь Иван Васильевич навещал свою отчину, Великий Новгород, он непременно гащивал либо у Марфы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у «курносой репы».

– А скажи мне на милость, Марфуша, – обратилась Настасья к своей приятельнице, когда статная фигура Оленьковича скрылась из глаз, – я вот никоим способом в толк не возьму – за коим дедом мы с Литвой путаться на вече постановили, с оным королем, с Коземиром? Вопросила я о том муженька своего, как он от нашево конца в посольство с твоим Митей к Коземиру посылан был, – так одна от него отвесть: «Ты, – говорит, – баба дура...»

Марфа добродушно улыбнулась простоте приятельницы, которая не отличалась и умом, а была зато добруха.

– Да как тебе сказать, Настенька, – заговорила она, подумав. – Московское-то чадушко, Иванушко князь, недоброе на нас, на волю новгородскую, умыслил – охолопить нас в уме имеет. Так мы от него, аки голубица от коршуна, к королю под крыло хоронимся, токмо воли своей ему не продаем и себя в грамоте выгораживаем: ни медов ему не варим, как московским князьям дозде варивали, ни даров ему не даем, ни мыта княженецкого, а токмо деи послам и гостям нашим путь чист по литовской земле, литовским – путь чист по новгородской.

- А как же, милая, о латынстве люди сказывают?
- То они сказывают безлепично, своею дуростию.
- А про черный бор сказывали?
- Что ж черный бор! Бор-ту единожды соберем, как и всегда так поводилось, а черную куну будут платить королю токмо порубежные волости – ржевски да великолуцки.
- Так. А хохлач-то почто сидит на Ярославове дворище?
- Он княж наместник, и суд ему токмо судить на владычном дворе⁵² заодно с посадником. А в суды тысячково и владычни и монастырски – ему не вступать.
- Так-так... Спасибо. Вот и я знаю топереву. А то на: «дура» да «дура»...

⁵² Здесь некоторая неточность: в «князи» себе Новгород волен был до середины XV в. позвать даже из Литвы, как, например, называемый здесь Михайло Оленькович был лишь «служилым» князем (служащим Новгороду), но не наместником в Новгороде князя киевского (а тогда бы это означало и – великого князя Литвы).

В это время на улице под самыми окнами показались скоморохи. Их было человек семь. Некоторые из них были в «харях» и выделяли разные характерные телодвижения, неистово играя и дудя на сопелях, дудях и свистелях.

В то же время в комнату, но уже без салазок, влетел счастливый и раскрасневшийся внучек Марфы, да так и повис на ее подоле.

– Баба, баба! Пусти в хоромы гостыище Терentyище! – просил он, умоляюще глядя на бабу.

– Полно, дурачок...

– Пусти! Пусти, баба!

– И то пусти, Марфушка, – присоединилась со своей просьбой и гостыя. – Я так люблю скоморохов – таково хорошо они действия показывают.

– Баба! Бабуся! Пусти!

– Ну ино пусть войдут...

Скоморохи не заставили себя ждать. Уже скоро Исачко – так звали внука Марфы-посадницы в честь деда, Исаака Борецкого, – опять влетел в палату, а за ним, с поклонами, кривляньями и разными мимическими ужимками, вошли скоморохи... Один из них, с длинною мочальною бородой, изображал подслеповатого и тугого на ухо старика – «гостя Терentyища», у которого на поясе висела большая калита. Рядом с ним жеманно выступал молодой краснощекий парень, одетый бабою. «Баба» была набелена и насурмлена, неистово закатывала глаза под лоб, показывая, что она «очами намизает» – глазками стреляет... Изображалась молодая жена гостя Терentyища – полнотелая Авдотья Ивановна.

При виде этой пары добродушная и простоватая приятельница Марфы так и покатилась со смеху, хватаясь пухлыми руками за свой почтенных размеров живот.

– Ох! Умру!.. – качалась она всем телом.

Другие скоморохи также старались поддержать свою репутацию – «людей веселых и вежливых», «скоморохов очестливых» – и тоже кривлялись с достаточным усердием. Говорили они большею частью прибаутками и притчами, так, чтобы выходило и «ладно», и «складно», и ушам «не зазорно».

– Жил-был в Новгороде, в красной слободе Юрьевской, честной гость Терentyище, – тараторил один краснобай, подмигивая льняной бороде, – муж богатый, ума палата...

Льняная борода охорашивалась и кланялась:

– Прошу любить и жаловать, вдова честная...

– И была у нево жена молодая, приветливая, шея лебедина, брови соболины...

«Молодая Авдотья Ивановна» жеманно кланялась – «хребтом вихляла, очами намизала», аркучи тако:

– И меня, младу, прошу в милости держать...

Потом Авдотья Ивановна стала охать, хвататься за сердце, за голову...

– Что с тобой, моя женушка милая? – участливо спрашивал старый муж.

– Ох, мой муженек Терentyище! Нemoжeтся мне, нездоровится...

Расходился недуг в голове,
Разыгрался утин в хребете,
Подступил недуг к сердечушку...

– Ах, моя милая! Чем мне помочь тебе?

– Ох-ох, зови волхвов ко мне, зови кудесницу...

Старый муж заметался и вместе с некоторыми из скоморохов ушел в сени, а оставшийся с Авдотьей Ивановной молодой «прелестник» стал весьма откровенно «изгонять из нея недуг» – обнимать и миловать...

Настасья Григоровичева и юный Исачко заливались веселым смехом, глядя на игру скоморохов...

Вдруг, по ходу действия, в сенях послышались голоса:

– Калики перехожие⁵³ идут... Калики!

«Прелестник», испугавшись этих голосов, заметался и спрятался под лавку, покрытую ковром. В палату вошли теперь – в виде «калик перехожих...» Один из калик, самый дюжий, тащил на спине огромный мешок, в котором что-то шевелилось, и положил мешок на пол у порога.

– Здравствуй, матушка Авдотья Ивановна! – кланялись «калики».

– Здравия желаю вам, калики перехожие! – отвечала Терентыха. – Не встречали ли вы моего муженька, гостя Терентьища?

– Сустрели, матушка: приказал он тебе долго жить... Лежит он в поле мертвый, а вороны клюют его тело белое.

Запрыгала и забила в ладоши от радости Терентыха.

– Ах, спасибо вам, калики перехожие, за добрую весточку!.. А сыграйте-ко про моего муже старово, постылово веселую песенку, а я, млада, на радостях скакать-плясать буду...

Заиграли и задудели скоморохи. Пошла Терентыха выплясывать, приговаривая:

Умер, умер Терентьище!

Околел постылый муж!..

Вдруг из мешка выскакивает сам Терентьище с дубиной и бросается на жену. Жена взвизгивает и падает на пол. Терентьище бросается на ее «прелестника», которого ноги торчали из-под лавки...

– А! Вот где твой недуг! Вон куда утин забрался!

И пошла писать дубинка по спине «недуга»... «Недуг» выскакивает из-под лавки и бежит вон, Терентьище за ним...

Кругом хохот... Маленький Исачко плещет от радости в ладоши.

Вдруг в дверях показывается – и кто же! – сам князь Михайло Олелькович...

Марфа так и побагровела от неожиданности и стыда... «Ах, сором какой! Сором!..»

⁵³ Убогие «Христовы странники». Часто им приписывалась чудесная сила, о которой говорится, например, в былине об исцелении Ильи Муромца, просидевшего тридцать три года сиднем и ставшего благодаря каликам богатырем.

Глава VI

Дурные вести

Наступила весна. Новгород, вместе с своими монастырями и посадами раскинувшийся на десятки верст в округности, казалось, тонул в зелени.

Утро. Солнце, которого диск еще не выкатывался из-за горизонта, золотило, однако, своими лучами кресты некоторых новгородских церквей и колокольни монастырей Юрьева, Антоньева и блестевшие густою позолотою маковки церквей Хутынского и Перыня.

Над гладкою поверхностью Волхова кое-где клубился еще утренний туман.

Слышен был медленный, протяжный благовест: прозвучит где-либо один колокол, ему ответит, не спеша, другой, в другом месте; то прозвучит скромный колоколец где-нибудь на Торговой стороне, а на зов его откликнется зычный медный голос с Софийской; то донесется по Волхову далекий благовест с Хутыни, а как бы в привет ему отзовутся медною протяжною мелодиею с Перыня, словно бы это подавало свой голос пробуждавшееся ото сна Ильмень-озеро.

По Волхову в это раннее утро, вверх к Ильменю, плыла большая, раскрашенная яркими красками лодка – «насад», на носу и на корме которой красовались резные фигуры, изображавшие: одна – какую-то невиданную птицу, должно быть «птицу сирина», «глас коей вельми силен», другая – нечто вроде «трясавицы» – «девки простоволосой» с рыбьим хвостом.

Насад шел на веслах. Гребцы, которых было по двенадцати человек на каждую сторону, работали исправно, мерно качаясь в своих красных рубахах и глубоко забирая воду длинными крашеными веслами, напоминавшими распушенные крылья огромной птицы.

На лавках, обитых малиновым сукном, сидело несколько женщин и мужчин, одетых в богатое боярское платье. В самой середине, как бы на почетном месте, сидела женщина вся в черном, с лицом, до половины закрытым чем-то вроде фаты или легкого головного покрывала. Она глубоко, по-видимому, задумалась и не обращала внимания на припавшего к ее коленям мальчика.

– Марфа! Марфа! Марфа! – раздался вдруг в воздухе какой-то глухой, странный, точно картавый голос.

Женщина в черном вздрогнула и перекрестилась. Мальчик быстро приподнял от ее колен свою курчавую головку, вскочил на ноги и взглянул вверх, откуда раздался странный возглас.

– Гавря! Гавря! – закричал он радостно.

Высоко в воздухе, над насадом, кружилась большая черная птица. Головы сидевших на насаде поднялись вверх и глядели на кружившуюся в воздухе птицу.

– Ах, окаянный! Как смутил меня... – проговорила женщина в черном.

– Гавря! Гавря! Гаврюша! – снова закричал мальчик.

– Новгород! Новгород! – глухо прокаркала в ответ птица.

– Это к добру, матушка: он славит тебя и весь Новгород Великий, – заметил молодой мужчина, сидевший недалеко от Марфы.

– Так... зря каркает.

– Не зря... Это птица вещая.

– Варлам! Варлам! – опять прокаркала странная птица.

– Слышишь, матушка, кого поминает?

– Слышу... Преподобного Варлаама хутыньского.

– А мы у него и не были еще, не кланялись угодничку.

– Заутра надоть и к ему-свету побывать со вкладом же.

– Точно, надоть: он заступа и крепость Великаго Новгорода.

– Гавря! Гаврюша! Летай к нам – я калачика дам!...

- Корнил! Корнил! – продолжала выговаривать удивительная птица.
- Ишь! И Корнилку-звонаря вечново славит...
- Корнил! Корнил!

Птица покружилась над насадом и, продолжая глухо выкаркивать всем в Новгороде известные имена, полетела назад.

Удивительная эта птица была – ворон. На вечевой колокольне, на перекладинах, на которых висел вечевой колокол, испокон веку было воронье гнездо, и в нем-то вывелся ворон, которого приручил и научил говорить Корнилко, сын вечевского звонаря и ныне сам звонарь. Ворон этот никогда не оставлял своей колокольни и своего гнезда, где он успел вывести целые десятки молодых крылатых поколений, которые и улетали в соседние рощи, заводили свои гнезда по другим новгородским церквам и монастырям, селились на надвратных башнях города, на старых башнях Детинца и на иных, любимых этою птицею высотках; а Гаврилко все оставался верен вечевой колокольне...

Ворона этого знал весь Новгород и относился к нему с суеверным уважением. Его считали вещью птицею – тем сказочным вороном, который знал, где доставать живую и мертвую воду. О нем в Новгороде ходило несколько сказаний, и все верили, что он оберегает Новгород и его вечевой колокол. Когда он каркал в неурочный час, то это непременно было или к добру, либо к худу... Так он каркал перед смертью последнего владыки, каркал и перед смертью посадника Исаака Борецкого, мужа Марфина. Иногда своим карканьем он останавливал бурные вечевые волнения и даже усобицы и «розрательства». Новгородцы верили, что ворон этот – «птица бессмертная» – как бессмертна, вечна новгородская воля и вечевые порядки Господина Великого Новгорода!

Но более всех любил своего крылатого Гаврилку его воспитатель и учитель – кривой Корнил. Правда, эту страстную, родительскую и в то же время суеверную любовь свою он делил пополам – между вороном и вечевым колоколом. К ворону он относился более покровительственно и фамильярно, называл его «Гаврею», а то и «Гаврюшею», разговаривал с ним, как с существом разумным, даже стыдил его, когда в борьбе с коршуном или ястребом, высматривавшим цыплят на владычнем дворе, его задорный любимец не всегда оставался победителем.

Тогда как вечевой колокол звонарь боготворил... Каждое утро, чуть свет, он взбирался на колокольню, молился оттуда на восток, потом кланялся на все четыре стороны, говоря: «Здоров буди, Господине Великий Новгород, с добрым утром!» А потом обращался с приветом и к колоколу: «Здравствуй, колоколушко! С добрым утром, колоколец родимый! Каков почивал есте?»

Корнил здоровался и с вороном, если тот был налицо, но чаще случалось, что ворон спозаранку улетал за добычей, и когда возвращался на свою колокольню, то звонарь встречал его словами: «Что, Гаврилко, набил зобок, очищаешь носок?... Ранняя птичка клевком очищает, а поздняя глаза протирает... Так-ту, Гаврюшенька».

Насад продолжал плыть по направлению к Ильменю. Солнце уже выкатилось из-за горизонта и брызнуло золотыми снопами на зеленые леса, на Новгород, отходивший все далее и далее, на ровную, струйчатую поверхность Волхова. Марфа-посадница снова погрузилась в задумчивость.

- Кому бы тут быть так рано? – раздался рядом голос ее младшего.
- Что, сынок?... – встрепенулась Марфа.
- Да вон кто-то идет...
- Вижу, и не худой мужик – из житых кто-то.
- Волосом рыж... Кто бы это?
- Упадышева походка...
- Да Упадыш и есть!
- Чего он тут ищет ранним временем?

Левым берегом Волхова действительно шел какой-то человек. Лицо его не было видно, но рыжие волосы и профиль красной бороды горели на солнце. Он шел торопливо.

Вдруг он исчез, словно сквозь землю провалился.

– Господи! Свят, свят!.. Где он пропал, матушка?

– Точно сгинул... И не взвидела, как исчез из очей.

– Не бес ли то был в образе Упадыша?

И Марфа и сын ее перекрестились. Маленький внучек Исаченко с испугом припал к коленям бабки. Другие женщины, бывшие в насаде, тоже испуганно крестились. Исачко лепетал:

– Я боюсь беса, баба, боюсь... Он с рогами и с хвостом! В церкви видел.

– Полно, Исачко, полно, дурачок, с нами хрест святой.

Вдруг, по-видимому, от того места берега, где исчез таинственный рыжий человек или «бес во образе Упадыша», донеслось до насада тихое мелодическое пение. В тихом утреннем воздухе, когда ни один лист на деревьях по берегам Волхова не шевелился, ни прибрежная осока и камыш не шептались между собою, а только слышалось тихое, равномерное полоскание весел в воде да переливчатое журчанье у крутых боков насада – пение это сделалось до того мягким и чарующим, что все сидевшие в насаде в изумлении прислушивались к нему, как к чему-то таинственному, может быть тоже бесовскому, а маленький Исаченко, раскрыв свои большие, светящиеся недоумением глаза, так и застыл в немом ожидании чего-то неведомого, чудесного...

– Господи Иисусе! Не бесовское ли мечтание сие?

– А чи не он ли то – рудожелтый?..

– Ах, сестрицы мои! Что-ой-то?

– Ниту, братцы, то, знать, русалка манит коего чоловіка, – слышалось между гребцами.

– И то она – русалка простоволоса...

– Мели гораздо! Ноли топереве ночь?

– Не ночь, ино утро, чаю.

– То-то, чаешь... А русалка только ночью косу-то чешет да молодцов заманивает.

– Чу-чу! Слова слыхать... слышь-ко!

Действительно, слышались слова, произносимые женским голосом:

Калина-малина моя

Кудреватая!

Почто ты, калина, не так-такова,

Как весеннюю ночкой была?..

– И точно, песня не русалья...

– Мели – русалья! Наша – новугорочкая песня.

– А то бывает и морская девка, что вон у нас на корме с рыбьим плесом...

– Ахти, диво дивное!

Но скоро из-за берегового уступа показалась и сама таинственная певунья.

– Ах ты, Перун ее убей! Вон она...

На береговом склоне, на выступавшем из земли камне, вся обложенная травами и полевыми цветами, сидела молодая девушка и, по-видимому вся поглощенная рассматриванием набранных ею цветов и зелени, задумчиво пела. Белокурые, как лен, волосы ее, заплетенные в толстую косу и освещаемые косыми лучами утреннего солнца, казалось, окружены были каким-то сиянием. Одежда ее состояла из белой, расшитой красными узорами сорочки и пояса, перевитого зелеными листьями. Из-под короткого подола виднелись босые ноги и голые икры. При всей бедности и первобытной девственности этого наряда тонкие красивые черты и кра-

сиво вскинутые над ясными глазами темные брови этой таинственной дикарки невольно приковывали к себе внимание.

Увидав приближающийся насад, она встала с камня и рассыпала лежавшие у нее на коленях цветы и травы.

– Да это, братцы, очавница...

– Яковая очавница?

– Да чаровница, что по лугам, по болотам, в дубравах дивье коренье да отравное зелье собирает на пагубу человеку и скоту.

– Что ты! Ноли и эта чаровница? Такова молода да образом красна!

– Да это, господа, кудесница – кудесница внука... Тутай недалече и берлога старой ведуны...

Марфа-посадница не спускала глаз с этой таинственной девушки, появившейся в таком пустынном месте и в такое раннее время. При последних словах одного из гребцов она вздрогнула...

В одно мгновение перед нею встал как живой образ ее тайного, покинувшего ее беспреступника... Такие же льняные курчавые волосы, такие же темные, красивые брови, гордо вскинутые над ясными очами...

«Ево волосы, ево брови... Так вот она... окаянное отродье!»

Точно ножом резануло по сердцу... Ей разом вспомнилось далекое детство – далекий, облитый солнечными лучами Киев, дымчатые горы, покрытые кудрявою зеленью, тихо катящий свои воды и сверкающий на солнце Днепр, Аскольдова могила⁵⁴, васильки и барвинки... И эти льняные волосы новгородского боярина...

И потом эта холодная, суровая сторона – этот Новгород под хмурым небом, холодный Волхов, несущий свои холодные воды не на полдень, не в теплые края, а на полночь, в сторону чуди белоглазой.

Она – жена другого, богатого, но не того льняноволосого боярина... Она – посадница – словно глазок во лбу у Господина Великого Новгорода! А память все не может забыть Киева. И его, беса, не забыть ей.

Насад миновал таинственную девушку, которая продолжала стоять на берегу и провожать глазами удалявшуюся ладью.

– Она на нас чары по ветру пускает, господа.

– Чур-чур! Ветер их не доноси, земля не допусти...

Марфа невольно оглянулась назад... «Окаянное, окаянное отродье!.. Ево постать, ево волосы».

– Это, баба, русалка?... Очавница... чаровница? – приставал Исачко.

– Молчи, невеголос! Ступай к маме...

– А для чево Упадыш тут? Да он ли то был? Не дьявол ли навещает кудесницу?..

Чайки все чаще и чаще кружились над водой, оглашая утренний воздух криками. Впереди синела и искрилась широкая, словно море, полоса воды. Это Ильмень-озеро, которое поит своею водой Волхов, а Волхов – Новгород Великий... «Из Волхова воды не вычерпать – из сердца туги не выгнати...»

Вот и Перынь-монастырь... Вон то место, где волокли когда-то с холма Перуна...

«Выдыбай⁵⁵, боже! Выдыбай, Перуне!.. Как-то, ты, Господине Великий Новгород, выдыбаешь?... Выдыбай, выдыбай!.. А от князя Михайлы все нету вестей... Эх, Олельковичу, Олельковичу!.. Вот уже третий месяц, как уехал в свой стольный Киев-град, а про Марфу и забыл...

⁵⁴ А с к о л ь д (? – 882), древнекиевский князь. По преданию, убит князем Олегом.

⁵⁵ От «выдыбать» – вынести, пронести счастливо; надыбал – счастливо нанесло-навело.

Серым волком бежал из Новгорода, услышав о смерти киевского князя, своего брата Симеона: «Сяду-де на стол киевский, на стол Володимиров и Ярославов, и тебя-деи, Марфу-голубку, посажу рядом с собою!» Вот и жди Марфа! Дождешься ли венца киевского?.. А седины уже будет под золотом?.. Ни-ни!.. Венец помолодит и буйную головушку... На зло же тебе, бесупрелестнику, за ту льняную девью косу, что там вон, на брезе Волхова, красуется... Твоя она!.. А ты сам где?»

– Мама! Мама! Сколько воды там!.. Какой большой Волхов!

– Это, сыночек, Ильмень-озеро.

– Ильмень-озеро... Ишь какое! А какая вон, мама, церква?

– То, дитятко, Перынь-монастырь.

«Далеко, далеко Ивану московскому до Новгорода Великого, не досягнуть, руки коротки! Ковшом моря не вычерпаешь – Москвою Новгорода не изымаешь...»

– Чаровнице-ту и цвет папоротника в руки даетца.

– А единова мужик искал ночью под Иванов день коня... конь сбежал у нево. А цвет папоротника и запади ему в лапоть... И видит он под землею клады великие – золото и серебро...

– Суши весла! – раздался вдруг повелительный голос кормчего, которым был сам Димитрий, старший сын Марфы, недавно возвратившийся из посольства, от короля Казимира.

Гребцы разом взмахнули веслами – и насад, силою прежнего хода, ровно и тихо подошел к берегу.

– Выноси на берег поминки! Да с осторогою.

Кинули на берег сходцы. Марфа, держа за руку внука и сама поддерживаемая Федором, сошла с насада на землю и перекрестилась. За нею сошли другие члены ее семейства и некоторые из челяди – «старая чадь». Остальная челядь и гребцы стали выносить из насада на берег монастырские «поминки» – богатый вклад монастырю, привезенный Марфой.

Вынесли на берег, вернее, выкатили бочку беременную романи на утешение братии, бочонок вина «алкану», бочонок «бастру красного»; там потащили «ягоды изюмны», «кардамон», «ядра миндальны», пшено сорочинское для кутежей поминальных... всего навезла благочестивая вдовица Марфа братии монастырской, чтобы братия молилась о ее здравии и спасении и «о во всем благом поспешении...» А об этом обо всем никто не знал не ведал – знала только ее грудь да постель немая, да еще знал и ведал обо всем этом ее друг нынешний, милый ладо, князь Михайлушко Олелькович...

«А об ладане-то росном да про воск на свечи я и забыла, – спохватилась Марфа. – Ах, я грешная! Затмил помыслы тот... далекий уже... невесть куда сгинувший... окаянный...»

И снова в тревожной памяти промелькнул каменистый берег Волхова, а на берегу – эта таинственная девушка с травами и цветами в руках и с отсвечивающею на солнце льняною косою...

«Так это она!.. Вон кому он дал свои волосы, свои брови, свои очи змеиные... Добро, Иванушко, добро, бес-прелестник?.. А я еще тебя ради Киев покинула... О! На том свете сосчитаемся!»

– Оповистуйте братии, что Марфа-посадница пожаловала... А се что за насад? Откуда?

От Ильменя, быстро, на двенадцати веслах, словно птица, неся насад – меньше того, на котором приехала Марфа. Гребцы на нем работали с такою порывистостью и напряженностью, что и лица их, и волосы, и рубахи были мокры от поту.

– Куда путь держите, люди добрые? – окликнули их с берега.

– Из Русы – в Новгород. А это чей насад?

– Марфин... посадничей... Борецкой.

– И сама Марфа тутай?

– Я – Марфа, – был ответ.

– Правь к берегу! Живой рукой!

Сделав на всем бегу полуоборот, бежавший с Ильменя насад быстро пристал к берегу. Из насада вышел молодой боярин с русой бородкой и с серьезными, задумчивыми глазами.

– А! Князь Василей! Слыхом не слыхать, видом не видать...

– Матушке Марфе много лет здравствовать!

– Спасибо, княже... Каково ради промысла так поспешаешь?

– Воинскаго ради чину – с вестями... Москва на нас идет!

Марфа отступила назад. Глаза ее сверкнули. Краска заметно отливала от щек.

– Москва... так наглостно... без разменных грамот?..

– Воистину, госпоже, наглостно...

– А кто воеводы и куда рати идут?

– Воевода Василий Федоров сын Образец да Матвеев сын Тютчев Борис с первым полком погнали на Двину, а другой полк с князь Данилою князь Димитриевым Холмским прямит на Русу да на Великий Новгород...

– На Новгород!.. Не быть сему!

– Да третий, госпоже, полк с князь Васильем князь Ивановым Оболенским-Стригою да с подручником московским с царевичем татарским Даньяром да с касимовским царем с Дамианом...

– Святая Софья! Премудрость Божия! Заступи град твой!

Словно зимним холодом обдало и тело ее и душу... А готов ли Новгород? Где его рати? Где рати короля Казимира? Где этот князь – этот Олелькович? Кто отстоит Святую Софью и честь великого города?..

А тут... проклятое видение на берегу – эта льняная коса, эти змеиные очи и этот хватающий за душу голос песни:

Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночью была?..

А разве она сама, Марфа, такова, как тою-о!.. дивно прошедшею и вечно памятною весеннею ночью была?.. Не воротиться этим ночкам весенним! А устоять ли Новгороду?..

– Баба-баба! Смотри, какую мартын большую рыбу поймал!

Глава VII

«Начала Москва!»

Марфа недолго оставалась в монастыре. Отслушала обедню, приложилась к иконам и, простившись с братнею, тотчас же отплыла обратно в Новгород, куда раньше ее должен был прибыть вестник войны князь Шуйский-Гребенка. Она отложила поездку свою и в Хутынский, и в другие монастыри, куда собиралась тоже на богомолье. Дела призывали ее в Новгород.

Всю дорогу она почти молчала, рассчитывая в уме своем возможные последствия сложившихся обстоятельств... Нет, на волю новгородскую пускай никто не наступает... Положи московскому Иванушке Новгород мизинец в рот – он и голову проглотит, и Святую Софию, и вечевой колокол с Корнилом-звонарем...

Она не замечала, как неся ее насад вниз по течению Волхова, как уходили назад синие рощи.

Только у старых каменоломен, недалеко уже от Новгорода, она неожиданно выведена была из своего раздумчивого состояния. На правом берегу, отчетливо вырисовываясь на глубоком фоне горизонта, опираясь на клюку, стояла какая-то старуха. Пасмы ее седых волос выбивались из-под повязанного платком старого головника с рогами и трепались по ветру. У ног ее сидела та же, уже виденная ею, льняноволосяя девушка, окруженная травами и цветами.

– Гляди! Гляди на нее! – хрипло, но громко сказала старуха, обращаясь к девушке и показывая на насад, который в эту минуту как раз поравнялся с ними. – То она... Марфа-посадница!

Удивленная девушка вскочила на ноги:

– Бабушка! Я знаю ее...

– Не знаешь!.. Это змея подколотная... Одна я ее знаю...

И старуха, подняв клюку, погрозила насаду.

– Помни меня, Марфа! – резко прокричала она. – Помни кудесницу!.. А ее, – она указала на девушку, – вспомняешь в ину пору!

Марфа сидела бледная, безмолвная. Испуганные гребцы еще сильнее налегли на весла – страшная старуха скоро скрылась из глаз.

В Новгороде уже говорил вечевой колокол и разносил еще неизвестную, но тревожную весть по всем улицам и по ближайшим монастырям с посадами. Корнил-звонарь усердно работал железным языком, прислушиваясь к трепетным и вопящим крикам своего любимца, а испуганный ворон делал большие круги над колокольною, поднимаясь все выше и выше к глубокому, безоблачному небу.

Вечевой колокол почти не умолкал несколько дней. Новгородцы готовились встретить врага, и потому каждый день шумело вече: то сгоняли к ратному делу гончаров, рыбников, плотников, лодочников; то унимали худых мужиков-вечников, которые с дубьем, вилами и косами порывались идти сами не зная куда и бить не ведая кого, и горланили «разнесем-ста таких распроедаких», и так далее, и тем крепче и все трех- и четырехъярусными словами; то метали с мосту «супротивников» и «переветников», то всем Новгородом валялись ничком и слезно голосили перед Знаменской Богородицей, прося ее заступы; то ставили свечи, чуть ли не в оглоблю величиной, у гробов прежних владык, охранявших своими молитвами новгородскую волю... Новгород стонал голосами, бабы выли, а им вторя, заливались собаки...

Все казалось зловещим и необыкновенным... Новгородское небо, всегда дождливое, теперь, в течение всей весны, не посылало ни одной тучки с дождем на новгородскую землю. Новгородские болота, по которым ни татары, ни московские люди не могли, бывало, со своими ратями добраться до Новгорода, теперь попересыхали. По ночам сами собой звонили колокола, выли собаки и каркали вороны. Из сухой старой «деки», на которой написана была Знамен-

ская Богородица, из глаз Богоматери текли слезы, и знаменский пономарь Акила, приятель Упадыша, сказывал, что слез этих, накопало целую дароносицу. Бабы в Неревском конце слышали, как ночью что-то летело по аеру над Людиным концом и плакало. Другую ночью некий человек, проходя с Торговой стороны на Софийскую по мосту, видел дивное видение – «два месяца на небеси, зело страшны, хвостаты, и ударилися те месяцы вместе, и один у другаго хвост отшиб, и тот месяц отшибеной хвост приволок к себе, и знати стало на месяце том как перепояска...»

– И то знамение к тому явился, – толковал на вечевой площади Упадыш, – что Москва у Новгорода хвост отшибет.

– Брешешь, рудой пес! Мы у поганой Москвы отшибем хвост и посшибаем у нее рога.

– А я, братцы, зрел таковое знамение, – ораторствовал один рядской говорун. – На новыцы⁵⁶ явишася два месяца рогаты, рогами противу себе, один повыше, а другой пониже, и сшиблись рогами – страх!

– Ну и что ж – кто ково зашиб?

– Не вем, братцы, не дозрел конца: оболочко на месяцы набежало.

– Эка малость! Маленько бы подождать...

– А я вам скажу, господо, таково диво, – ввернул свое слово известный озорник Емеля Сизой. – Я видел, как карась в Волхове щуку сглотнул...

– Ври, ври пуще! – засмеялись слушатели.

Все время, пока собирались новгородские рати, Упадыш то и дело шептался с московскими сторонниками и часто пропадал из города. Нередко видели, как он пробирался к старым каменоломням, а иногда замечали, что к нему по ночам приходила какая-то женщина, но всякий, кто видел ее, тотчас убегал, боясь, что это «очавница» и что она может напустить лихую немочь, а то и самого беса...

Наконец рати собраны как собственно по Новгороду, так и по ближайшим пригородам и все стянуты к сборному месту. Новгородское войско разделилось на два полка – конный и пеший. Первый должен был обогнуть вдоль западного берега Ильменя и явиться у Коростыня. Пеший же полк должен был сесть на суда и плыть к Коростыню Волховом, а потом Ильменем.

Весь Новгород вышел провожать своих воинов. Владыка и все новгородское духовенство вышло с хоругвями и иконами. Ратники были окроплены святою водою. Проводы сопровождались плачем детей и причитаньями жен и матерей.

Старший сын Марфы-посадницы в качестве одного из воевод пешего полка, сопровождаемый своими подручниками – Арзубьевым, Селезевым-Губою и Сухощеком – блистал, словно новая риза на иконе, своими латами, кольчугою и дорогим шлемом с золоченым «еловцом» наверху. Бледное, матовое лицо его, окаймленное шлемом и чешуею, казалось юным и восторженным.

Мать плакала, благословляя и целуя его. Слезы гордой, честолюбивой женщины, припавшей к груди сына, падали одна за другою на блестящие латы, оковывавшие молодую грудь ее любимца, и скатывались на землю как крупные жемчужины...

Давно ли, казалось, она держала его, маленького, у себя на коленях, а он играл ее дорогим ожерельем?

– Не плачь, матушка, не скорби, – утешал ее сын.

– Ох, сыночек, прискорбна душа моя...

– Не кропи слезами моих лат, родная, – потускнеют.

– Ох, сама ведаю, дитятко: горьки слезы матери, что ржа проедят они латы твои...

– Марфа! Марфа! – прокаркал ворон, кружась над хоругвями.

⁵⁶ На новолуние.

Марфа вздрогнула... «Что он вещает, Господи!» Глаза всех невольно обратились на вещую птицу. Владыка осенил ее крестом...

– Вещай на добро, птах божий! – проговорил он.

– Варлам! Варлам! – казалось, отвечала странная птица.

А с вечевой колокольни с любовью и умилением следили за вороном и за всем происходившим на берегу Волхова блестящие старческими слезами глаза вечного звонаря.

– Фу-фу-фу, сколько детушек у Господина Великово Новагорода! Сколько стягов, сколько насадов!.. Не видать поганой Москве Новагорода как ушей своих... Кричи, кричи, Гаврюшенька! Каркай славу Великому Новугороду!

– Новгород! Новгород! – как бы отвечая звонарю, безмысленно каркала птица заученные слова.

Владыка знаком подозвал к себе воеводу конного полка, седобородого боярина Луку Климентьева. Воевода подъехал к Феофилу, проворно соскочил с коня, звеня сталью своей кольчуги и оружием.

– Преклони ухо, Лука, – тихо сказал владыка.

Воевода почтительно нагнул голову как для благословения.

– Помнишь, Лука, мой наказ? – по-прежнему тихо спросил Феофил.

– Не забыл есми, владыко.

– Помни же, сын мой: егда сойдутся рати в поле, рази токмо окаянных псковичей, а на княжой полк не води мой полк, не благословляю на сие...

– Будет по глаголу твоему, владыко.

– Корнил! Корнил! Корнил! – каркал ворон.

– Ах, сыночек мой, Гавря! – умилился звонарь, слушая свою птицу. – И меня, старика, вспомнил... А вон и Тихик блажененькой с боярынею Настасьей... Что они везут?

Вдоль рядов пехоты два рослых парня везли тележку, нагруженную платками и холстом, а впереди шла, вся покрасневшая от жару, боярыня Настасья Григоровичева, а с нею рядом слепой Тихик, обвешанный своими сумками. Они брали из тележки платки и лоскуты холста и раздавали ратникам.

– Для чево это? – недоумевали ратные люди.

– Кровушка, кровушка... Ох, много кровушки будет, – загадочно отвечал слепец.

– Добро, пригодится ширинка нос утереть...

– Кровушку, кровушку, кровушку горячую, – твердил свое Тиша блаженный.

– Мы-ста кому иному нос утрём!

Князь Василий Шуйский-Гребенка, стоявший впереди всех и разговаривавший с посадником, обнял этого последнего и грузною походкою направился к иконе Знаменской Богоматери, которую, как величайшую святыню Новгорода, вынесли перед войском и держали темным, закоптелым ликом к выстроившимся ратям. Князь Василий с головы до ног был закован в железо, и только русая борода и серьезные глаза, выглядывавшие из-под низко надвинутого шлема, обнаруживали, что под этим движущимся железом и кольчатой сталью скрыто человеческое тело. Князь Василий был главным воеводою посылаемого теперь против москвичей передового новгородского полка.

Он подошел к иконе, три раза поклонился в землю и приложился к ризе Богоматери. Владыка, у которого дрожала рука, покропил его святой водой.

К воеводе подвели рослого вороного коня, который нетерпеливо рыл копытом землю и пенил удила. Воевода медленно сел на него и в сопровождении подручных воевод стал объезжать ряды.

– Постоим, братие, за Святую Софию, за дома свои и за волю новгородскую! – то и дело обращался он к войску.

– Утрём пота за Святую Софью! – отвечали ратные.

– Положим головы за волю новгородскую! Ляжем костями!

– Не посромим Господина Великого Новгорода!

По знаку воеводы затрубили рога, загудели гудки, заколотили бубны.

– В насады! В насады! – прошло по рядам.

Войско двинулось к насадам, которые покрывали весь Волхов по ту и по другую сторону «великого моста». Бабы и дети снова взвыли.

– Фу-фу-фу! – радовался с колокольной вечевой звонарь. – Полетели пчелки для своей матки медок добывать... Фу-фу-фу, сила какая!

Марфа в последний раз обняла сына... «Митя... соколик мой... золото червонное... о-о-ох!» – И острое, нехорошее чувство шевельнулось у нее в груди против того статного, чернотелого «хохла», который обнадеживал ее литовской помощью... «Аспид пучеглазый!..»

– Баба! Баба! – теребил ее за подол маленький Исачко. – По ком ты плачешь?.. И я заплачу...

– Новгород! Новгород! – отчаянно каркал ворон, взбудораженный необычайным движением и плачем.

Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пенили гладкую поверхность Волхова тысячами весел, а оставшиеся новгородцы и пригорожане, большею частью бабы и дети, двигались берегом, провожая глазами своих «лад милых» и махая усталыми руками все далее и далее уходившим насадам.

Марфа тоже стояла заплаканная, провожая глазами стяг, который тихо полоскался в воздухе над воеводским насадом, умчавшим ее дорогого Митю на кровавый пир. И ей невольно вспал на память таинственный сон, виденный ею этою ночью, – сон, в котором ее суеверный ум угадывал что-то пророческое, страшное, но что – она не знала... Ей снилось, что она стоит на вечевом помосте и слышит у Святой Софии похоронный перезвон и жалобное причитанье многих женских голосов. Она спрашивает – кого хоронят, и ей отвечают, что хоронят волю новгородскую... Она торопится с помоста, чтобы посмотреть на похороны, но в этот момент у нее на шее разрывается дорогое ожерелье и крупные жемчужины рассыпаются по земле. Откуда ни возьмись куры, и – клевать ее жемчуг... «Несут-несут», – слышит она голоса и видит, что люди несут гроб, а в гробу лежит она сама, Марфа, и за гробом идет та льняноволосяя девушка, которую она недавно видела за городом, на берегу Волхова, обсыпанную цветами и зеленью, и голосно причитает: «Матушка родимая! На кого ты меня, сиротинку, покинула...»

– А мне батя посулил привезти пряник московской – во какой, – бормотал между тем маленький Исачко, теребя ее за подол.

А издали, с насадов, уже доносилась голосистая, как бы заунывная, раздумчивая песня:

В Новгороде ли было на Софийской стороне,
Раззвонился, братцы, раскричался вечной колокол:
Уж и чтой-то, братцы, у нас в Новгороде нездорово...

Конный полк тоже уже давно взбивал облака пыли за городом. В облаках пыли трепались новгородские стяги, поблескивая на солнце золочеными яблоками, крестами и униженными разноцветным камнем ликами угодников, изображенных на широких полотнищах знамен. Это был владычный полк, предводительствуемый благочестивым боярином Лукою Клементьевым.

Насады между тем, сверкая в воздухе бесчисленными веслами, словно крыльями, быстро подвигались к Ильмену. В воздухе, на всем пространстве, занимаемом этою флотилией, носился говор и гул тысяч голосов, и все эти голоса покрывала заунывная, хотя и удалая мелодия:

Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень-озеро,
Расходились, разусобились люди новгороцкии,
Выходила ли Торговая сторона на Софийскую...

- Глянь, братцы, опять на берегу очавница...
- Смотри, смотри! Кому-то клюкой грозит.
- Ах, старая кудесница! Чур-чур!.. С нами хрест.
- А вон дивка-чаровница... Коса-то какая белая – лен чесаный.

Действительно, на берегу опять стояла старуха-кудесница и грозила кому-то клюкой, но кому – этого никто не знал, хотя каждый суеверно принимал на свой счет.

Кудесница эта слыла в Новгороде за злую ведунью, и все ее боялись. Рассказывали старые люди, что родилась она в незапамятные времена от зашедшего сюда из чуди волхва и бабы-кудесницы, которая могла напускать на людей мор, низводить с неба дожди и повелевать солнцем и месяцем, которые иногда даже «скрадывали» солнце и месяц, – и все это страшное ведовство передала своей дочери, настоящей кудеснице, жившей в никому не достигаемой пещере... С нею жила теперь другая чаровница, которую будто бы старая ведунья прижила с дьяволом...

Эта молодая чаровница тоже стояла на берегу. Она, видимо, искала кого-то глазами среди насадов. Наконец отыскала кого-то, узнала, и лицо ее вспыхнуло, а потом мертвенно побледнело...

Когда насады проплыли мимо нее, она закрыла лицо руками и, казалось, заплакала. Льняная голова ее закачалась из стороны в сторону, словно бы она причитала...

Но вдруг, к изумлению ратных людей, она отняла руки от лица, быстро, спотыкаясь, последовала вдоль берега за насадами и на ходу все крестила их...

- Что за притча! – удивлялись ратные люди. – Не то она хрестит, не то расхрещивает...

Долго эта таинственная чаровница шла за насадами, пока они не скрылись у нее из виду.

А насады уже вышли в Ильмень-озеро. Все были оживлены, разговаривали, смеялись, бранили москвичей и Псков, который не шел Новгороду на помощь. Воевода, князь Шуйский-Гребенка, окруженный подручными воеводами, каковыми были молодой Марфин сын Димитрий, Василий Селезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, – говорил о предстоящем воинском деле, о трусости москвичей и об ином прочем.

Один только Упадыш молчал, смутно свесив свою золотистую голову на грудь, покрытую кольчугой, и по временам оглядывался назад к тому месту, где маячилась на берегу льняная головка молодой чаровницы, пока и она, и берег, по которому она шла, не скрылись из виду.

Виднелся еще сзади Перынь-монастырь с его золотистыми главами, но скоро и он как бы погрузился в воду. Кругом расстилалась гладкая поверхность Ильменя, которую иногда рябил тихий южный ветерок, да на голубом небе стояли неровными рядами перистые облачка, которые, как и само небо, казалось, тихо двигались на полночь, к оставленному назади Новгороду.

Песня давно смолкла. Многие из ратных людей, соскучившись однообразием картины и убаюканные плавными покачиваньями насадов, спали или дремали, вспоминая свои дома, жен и других близких сердцу, которых иным, быть может, уже не суждено больше увидеть и обнять, как еще недавно они обнимали их на прощанье, а те благословляли и целовали их с ласками и плачем.

Упадыш, все время молчавший, уже не оглядывался более назад – его задумчивые черные глаза сосредоточенно следили, казалось, впереди за чем-то далеким, чего никто не видел. По временам губы его подергивались как бы от внутренней боли, и он встряхивал своими искрасна-рыжими волосами, словно бы его преследовала не то надоедливая муха, не то неотвязчивая мысль. Он, видимо, искал чего-то впереди, ждал этого чего-то, а позади него, вот тут, за плечами, стояло что-то другое и не отходило, как он ни отмахивался от него.

Вечерело. Солнце начинало уже клониться к западу и косвенными лучами золотило и мачты, и стяги новгородские, и плавно взмахивавшиеся над водою весла. А Упадыш, неподвижно сидя на носу своего насада, все глядел вперед.

Усталые гребцы от времени до времени перекидывались словами, но Упадыш точно не слышал ничего.

– А какой нониче у нас, братцы, день?

– Ноли забыл?

– Забыл-ста... Да и как не забыть! С коей години на ногах!

– И точно, забудешь... Кажись, вторник у нас.

– Вторник и есть... Ноли забыли, какой завтра праздник?

– А какой? Мы не попы.

– А Ивана Предтечу забыли... Иванову-ту ночь?

– Ай-ай, робятушки! И в сам-дель: завтра у нас Ярила живет...

– И вправду – ай-ай!.. Так ноне у нас Ярилина ночь⁵⁷ будет?

– Ярилина! Эх ты, кумирслов! Али забыл, как тебя поп в загривок наклал за Ярилу?

– Помню, что ж! Не велел Яриле молиться: Ярила, слышь, идол...

– Идол и есть...

– Сказывай!

– То-то... сказывай! Попу ближе знать. Ноне ночь до Предтечева живет.

– У тебя Предтечева, а у меня Ярилина... То-то бабы да девки взбесятся ноне!.. То-то скаканье да плесканье буде! Пенье да славленье – эх!.. А мы вот туто возжайся!.. Подавиться б ей, Москве кособрюхой!

– Смотри, братцы, смотри, дым-от какой!

– Где дым, паря?

– Да вона – прямо на берегу...

– И точно, – и-и какой дымина!.. Откудова бы ему быть?

– Да, точно... Это, господо, дым в Русе...

– В Русе и есть... Ноли Ярилины костры разводят?

– Нашел-ста!.. Рано Ярилиным кострам быть.

– Так ноли пожар?

– Пожар и есть!..

Действительно, над берегом, где должно быть устье Ловати, где, по всем видимостям, находилась Руса, густой дым клубами вставал над горизонтом и зловещею дымкою расстился к Ильмену. Ясно было, что горело что-то большое, и горело не в одном месте... Но что горело? Неужели Руса?..

Упадыш уже стоял. Глаза его, обращенные к зловещим клубам дыма, лихорадочно горели. Дрожащею рукою он держался за рукоятку длинного меча, привешенного у бедра, и бледные губы его беззвучно, судорожно шевелились...

И лицо главного воеводы выражало тревогу. Он оглянул все новгородские насады, которые разбились по Ильмену как огромное стадо лебедей, перенес взор на свой насад, на тихо вевящий над его головой войсковой стяг и, сняв с головы шлем, широко перекрестился...

– Начала Москва! – сказал он как бы про себя. – Кто-то кончит?..

⁵⁷ Речь, видимо, идет об Ивановой ночи, ночи Ивана Купалы. В основе обрядов лежит языческое почитание воды и солнца (Ярилы), в Иванову ночь зажигали костры от живого огня, добываемого трением дерева о дерево, в Иванову ночь расцветает папоротник. Есть поверье: «На Иванов день солнце играет на восходе».

Глава VIII

Поражение новгородцев на берегу Ильменя

В ту ночь, когда пешее новгородское ополчение, переправившись в своих насадах через Ильмень, приближалось к устью Ловати и видело поднимавшиеся из-за горизонта клубы черного дыма, от берега Волхова, противоположного Перынь-монастырю, тихо, как бы крадучись от кого, отчалила небольшая рыбацкая лодка и тоже выплыла в Ильмень.

Чернецы Перынь-монастыря, заметившие эту лодку, не обратили на нее внимания, полагая, что это рыбаки отправились на какую-нибудь далекую тоню, чтоб к утру или к полуночи попасть на место работы.

Но они не заметили, что лодка направилась не вдоль берега Ильменя, а напрямки через озеро – по направлению к устью Ловати. Чернецы не могли видеть также, кто находился в лодке, а если б увидали, то не знали бы, что подумать об этом. В своей суеверной фантазии они бы порешили, что это – «дьявольское наваждение», «мечта», «некое бесовское действие», что это, одним словом, «нечистый играет на пагубу человеку».

В лодке было всего два живых существа – молодой парень и с ним бес, непременно бес в образе леповидной девицы. Кому же другому быть, как не бесу! – да еще к ночи; мало того! – в самую Ивановскую ночь, накануне рождества Предтечева, когда и папоротник цветет, и земля над кладами разverzается, и утопленники голосами выпи стонут в камышах, и русалки в Ильмене плещутся, празднество идола Яриле правят...

Ночь была июньская, северная, глазастая. Спящее озеро как на ладони... Полуночный край неба совсем не спит – такой розовый, белесоватый... Казалось, что там, дальше, туда за Новгород, в чудской земле – день, чужь белоглазая нежится на солнышке... Но вода в Ильмене такая темная, страшная – бездонная пучина, а в этой пучине, глубоко-глубоко, наверное, разные чудища копошатся и смотрят из глубины, как над ними жалкая лодочка куда-то торопится...

– Ох!.. Богородица!

– Что ты?.. Чево испужалась?

– Рыбина выкинулась... Я думала... Бог весть что...

– Ничево, не пужайся, не впервые...

Лодка продолжала быстро нестись по гладкой поверхности тихого озера. Где она проходила, там оставался след на воде, и две полосы расходились далеко-далеко в виде распущенного хвоста ласточки. Кругом – тишина мертвая, только слышится тихое плесканье весел и журчанье воды у боков лодки...

– Ох, боюсь, Петра...

– Чево, ладушка, боишься?

– Не угодим ко времени.

– Угодим. Не раз плаывали в Русу.

– Да уж час ко полуночи...

– К первому солнышку как раз угодим – истину сказываю, ладушка.

Парень налегает на весла. Лодка вздрагивает, подскакивает и несется еще быстрее. И загорелое лицо, и черные кудрявые волосы у парня увлажнены потом. Он что-то хочет сказать и – не решается...

А девушка все молчит, не отрывая глаз от далекого горизонта... Чего ей там нужно?

– Ты бы, ладушка, сыграла что.

– Не до игры мне, Петра, не к поре...

– Ничевошно... Легче бы на сердце было... Ты бы «Калину»... Ноне Ярилина ночь! Сыг-
рай:

Почто ты не так-такова,
Как в Ярилину ночку была...

– Бог с тобой, Петра.

Но Петра, по-видимому, не о песне хотел бы говорить, да не смеет... «Эх, зазнобила сердечушко!..»

– А вить наши новугороцки рати осияют Москву.

– Про то Богу ведомо, Петра.

– А обидно таково.

– Что обидно?

– И я собирался вить на рать, да мать не пустила... А чешутся руки на Москву кособрюхую!

– Молод ты еще.

– Како молод!

Опять помолчали. Парень выбивался из сил, видимо изнемогал.

– Дай, Петра, я погребу.

– Что ты! На кой?

– Ты ослаб, а еще далеко... Садись к правилу.

– Где тебе!.. Твоя сила – дивичья, не мужичья.

– Я обыкла грести – у меня силища в руках.

– Ну, болого, будь по твоему хоченью.

Девушка оставила руль, встала и направилась к веслам. Парень и любовно, и несмело глядел на нее. Но девушка разом остановилась как вкопанная, уставив испуганные глаза на далекий горизонт, из-за которого выползали не то темные облака, не то клубы дыма. Они слишком скоро изменяли положение и форму и слишком явственно волновались, чтоб их можно было принять за облака. Казалось, кто поддувал их снизу и они рвались к небу и как будто таяли, расплываясь по сторонам.

– Ох господи!.. Что таютка, Петра!

– Что?.. Что узрила, ладушка?

– Ни оболоки, ни дым... Как живые по небу мятутся.

Парень встал, повернулся лицом вперед и долго смотрел на волнующиеся клубы дыма.

– Горит там что, Петра?.. Пожар?

– Може, пожар, а може, леса горят – не впервой.

– Ох, не леса – жилье горит... То люди, то Москва огни распустила...

– А може, и Москва... Она, проклятая, что твой татарин...

– Так мы опоздали?.. Господи! Помилуй!

– Для че опоздали!.. Нагоним живой рукой...

– Ох, не нагоним, соколик!

Девушка быстро схватила в руки весла, метнула их в воду, налегла раз, два, три – и лодка затряслась и запрыгала под сильными взмахами весел. Откуда взялась сила в молодом существе, которое за минуту казалось таким тихеньким и слабым...

– Ишь ты... ай да ну!.. Ай да дюжая! – любовался и недоумевал парень.

Лодка неслась быстро, а еще быстрее летела северная весенняя ночь – ночь Ярилы. Восточная половина неба становилась все яснее и яснее, и тем отчетливее двигались по небу, как живые, клубы дыма, верхние слои которых уже начинали принимать бледно-алые оттенки.

Вот-вот настанет утро, выглянет солнышко, и будет уже поздно...

Девушка еще сильнее налегла на весла.

– Ну и дюжа же... Эх, чтоб тебя!

По небу, через озеро, летели какие-то черные птицы. Они, видимо, летели туда, где клубились и восходили к небу облака дыма.

Птицы обгоняли лодку...

– То воронье, чаю?

– Воронье... ишь, взапуски, умная птица...

– А для чего? Что им там?

– К солнушко. Они вот так-то всягды... На солнушко.

– Что ты, Петра! Это не к добру. Они мертвеца чувуют... корм...

Девушка задрожала. Она не чувствовала рук – точно одеревенели они... По озеру прошла рябь, что-то пахнуло в лицо... Ильмень то там, то тут становился точно чешуйчатым.

– Утренник пробег – утро скоро. Ох, не угодим!

– Не бойся, скоро и к Ловати подобьемся. Наши, поди, дрыхнут: к утру сладко спится.

И парень зевал и крестил рот. Ему вспомнился их рыбацкий шалаш: как бы теперь он славно спал, укрывшись теплым кожухом... А там заварили бы с отцом уху, похлебали бы горяченького, да и на работу... Нет, сегодня праздник – Иван Предтеча...

Виден уже был берег и выдававшаяся в озеро длинная коса, поросшая тальником. У берега стлался над водой и как бы таял беловатый туман. Дым становился багровым и медленно редел.

– Ну, вот и угодим-ста – вон берег... И туманок подымаетца...

Ах ты, туман мой, туман-туманок,
Что по Ильменю он, туман, похаживает...

– Что ты! Что ты, Петра, с ума сошел?..

Парень спохватился и перестал петь. На берегу вдруг из-за тальника выросла человеческая фигура, закутанная в охабень⁵⁸. На голове ее что-то блестело.

Увидав лодку, неизвестный человек приблизился к берегу. Выткнувшееся из-за горизонта солнце позолотило высокий заостренный еловец его шлема...

– Эй, лодка! Кто там? – послышался оклик.

Девушка вскочила, испуганная, дрожащая. Она, казалось, глазам своим не верила, или то, что она видела, казалось ей сном, привидением. Человек в шлеме, стоявший на берегу, был не менее ее поражен.

– Горислава! Ты ли это!.. Как сюда попала?

– Гребь! Гребь к берегу! – торопила она парня.

Лодка пристала. Девушка, как кошка, выпрыгнула из лодки. Стоявший на берегу человек распахнул охабень, скрывавший половину его лица и рыжую бороду. Это был Упадыш.

– Горислава! Что с тобой?.. Почто сюда приехала?

– Я... я от бабушки...

– От бабушки? За коим делом?

– Я... не от бабушки... я сама... я слыхала... ненароком... Ох, господи!

– Что слыхала? Сказывай...

– Москва... Москва там, в Русе... Она утром, отай, ударит на вас... всех посечет... Ох, что это?..

Вдруг произошло что-то необыкновенное... страшное, точно земля и небо задрожали и застонали от каких-то неистовых, нечеловеческих голосов и кликов.

«Москва! Москва!» – слышалось в этой буре, в этом раздирательном реве голосов.

Девушка, дрожа всем телом и дико озираясь, схватилась за Упадыша да так и закоченела.

⁵⁸ О х а б е н ь – верхняя одежда прямого покроя с откидным воротом и длинными рукавами, часто завязывавшимися сзади. При этом руки продевались в прорези рукавов.

– Матушки! Что это? О-ох!

– Уходи... Уходи в лодку! Ступай, Горислава! – силился Упадыш отцепить от себя ее зачоченевшие руки. – Иди в лодку – плыви дальше, не то пропадешь...

– О-ох! А ты! Что с тобой станется! О-о-о!

– Уходи, говорю! Это Москва на нас пошла...

Рев голосов между тем становился все неистовее и диче. Стучали и стонали бубны, выли рога...

«Москва! Москва! Москва! Бей окаянных изменников! Бей новгородскую челядь!»

С возвышения, тянувшегося вдоль берега Ильменя, от левого рукава Ловати, словно лес – «аки борове», по выражению летописца – лавиною двигались московские рати, блистая на солнце шеломами, еловцами, кольчугами, сулицами, бердышами и развевая в воздухе всевозможных цветов стяги, потрясая копьями и рогатинами с острыми железными наконечниками.

Новгородское войско, которое ночью пристало с своими насадами тут же к берегу, несколько правее, не ожидая так скоро неприятеля и выгадывая время, пока не пришла ее конная рать – беспечные новгородцы, повалившись на берегу, на песке или на траве, кто в насадах, спали еще мирным сном, когда услышали, словно гром с неба, страшный московский «ясак»...

– Москва!

– Москва!

– Москва!

Новгородцы спросонья не знали, что делать, что думать, за что хвататься. Как безумные металась они по берегу и по насадам.

А москвичи уже били их, прокалывали копьями, рассекали топорами их головы – не прикрытые шеломами... А шеломы валялись тут же, на земле, – кто же спит в шеломе!..

– Уходи, безумная!.. Уходи, Горенька! – отбивался Упадыш от обезумевшей девушки.

– О-ох! ниту! ниту!.. Тебя убьют... о-о! матушки!

– Малый! Возьми ее – снеси в лодку...

– Не пойду... о-ох!.. Я с тобой помру... о-о-о!

– Тащи! Волоки ее!.. Отваливай дальше от берега!

– Иди, ладушка! Иди, дивынька! Подь, Горя! – И дюжий парень, не обращая внимания на сопротивление девушки, как медведь сгреб ее в охапку и поволок к лодке.

– Пусти! Пусти меня, Петра! О-ох!

– Не пущу! Ишь ты... не царапайся! Не пущу... ушибут тебя... Полно-ка!

А там шла кровавая сеча. Новгородцы, не успевшие со сна захватить оружие, бросались в рукопашную и с свирепостью отчаянья душили своих врагов, обвивались вокруг их ног, грызли их, как собаки, зубами, и, несмотря на то, что другие москвичи пронизывали их копьями, крошили головы бердышами, пропарывали их рогатинами – новгородцы голыми руками задавливали своих врагов, и тут же, обнявшись с ними, как с братьями, смертными объятиями, умирали разом, обагрят кровью желтый ильменский песок и зеленую прибрежную траву.

Крики, проклятия, стоны раненых и умирающих, боевые возгласы, лязг железа о шеломы и латы, визг скрецающихся мечей и сабель, хряст ломаемых копий, рогатин и костей человеческих, проклятий нападающих и поражаемых, храп и свист перерезанных и недорезанных горл, стук дерева о дерево и железа о железо, нечеловеческие вопли удушаемых за «тайные у...» – все это сливалось в такую адскую музыку, о которой нельзя даже составить себе понятия по современным битвам, даже более кровавым и уж гораздо более разрушительным, когда и стоны, и вопли человеческие, и ржание лошадей, и проклятия раненых, и вопли задавленных конскими копытами, и визг и лязг оружия, сигнальные звуки труб – и все, все, весь ад звуков заглушается громом орудий, лопаньем разрывных снарядов, неумолчным лопотаньем тысяч ружьев... Нет, тогда, когда еще не в ходу было огнестрельное оружие, когда дрались кулаками, рвали зубами, душили друг дружку руками, резались и кололись холодным оружием

– тогда смерть и ее голос, ее ужасные крики были слышнее, реальнее, ужаснее – тогда все было слышно... слышно было, как души человеческие расставались с телами и кричали, невообразимо кричали об этих телах, оставляемых ими, об этой земле, о жизни...

Все это видела и все это слышала бедная девушка, силою втолкнутая в лодку и отвезенная далеко от ужасного берега... Ей как на ладони видна была эта ужасная сеча.

Одного не видала она – Упадыша... Куда он исчез, когда силою оттолкнул ее от себя и когда широкоплечий Петра сгреб ее в свои объятия. Что с ним случилось, бросился ли в сечу вместе с другими и погиб под ударами москвичей или бежал от их ужасного «ясака», который все еще гремел по всему берегу.

Но вдруг ей показалось, что она видит его... Да, это он... Он лежит, распластавшись, на земле, закинув назад свою рыжую, прикрытую шеломом голову. Это его борода – огненного цвета – так и горит под лучами солнца...

– Что ты! Стой! Что задумала?

– Ох! Пусти! Пусти меня, я к нему...

– К кому?... Чо с тобой?

– К нему... вон он на песке... распластался... его борода – рудая...

– Кака борода!.. То кровь... Видишь, горло перерезано и кровь льет на рубаху – не борода то рыжая, а кровь...

– Ох! Пусти! Убей и меня!

И она отчаянно билась в здоровенных руках парня...

– Дуришь... не выпущу... там смертный бой...

Действительно, бой был смертный. Московские рати осилили и смяли новгородцев. Многие из них, видя, что москвичи все прибывают, не выдержали натиска и бросились берегом к насадам. Напрасно воевода, князь Шуйский-Гребенка, махая мечом и напоминая беглецам Святую Софию, силился остановить их. Напрасно он кричал, чтоб подержались немного, что вот-вот сейчас подоспеет владычий стяг конников и ударит на москвичей с тылу, что вон уже вдали развеваются новгородские знамена и слышны боевые окрики новгородцев и их воинские трубы – беглецы не слушали его. Многие, бросаясь в насады друг через друга, попадали в Ильмень и тонули под тяжестью кольчуг – подымая руки из воды, напрасно просили о помощи... Было не до них – каждый думал о себе. Один увлекал другого, толпились, падали, вставали и снова бежали к насадам. Тех, что в пылу сечи зашли далеко и изнемогли, москвичи брали в полон и привязывали конскими цепями и ремнями друг к дружке.

Сын Марфы, Димитрий, положив на месте несколько москвичей и ошеломленный рогаатиною в голову, потерял сознание и, приподнявшись на песке, бормотал что-то бессвязно, водя пальцами по окровавленным латам и блестящему, теперь окровавленному нагруднику...

– Материны слезы, красны слезы стали... и на земле материны слезы... и тут на латах... красные слезы... заржавели... Исачке пряник московской...

Арзубьев и Селезнев-Губа, увидав его в таком положении, схватили под руки и силою втащили в насад.

– Материны слезы... красны... у-у-у в голове...

– Господи! Спаси ево, раба Митрея! О-ох!

– Измена... Владычний стяг поломал крест... Целованье переступил...

– У-у-у! Красны слезы...

Насады в беспорядке отчаливали от берега, не обращая внимания ни на раненых, ни на тех, которые не успели попасть на суда. Многие из них кидались в воду, чтобы догнать своих уплывших от берега, отчаянно боролись с затоплявшею их водою и, поражаемые московскими стрелами и камнями, тонули на глазах у земляков, то молясь, то проклиная кого-то...

Оставшихся на берегу москвичи ловили, словно табунщики коней, арканами. И тут начались возмутительные сцены надругательства над пленными новгородцами. Москвичи отрезывали

вали у них носы и губы, бросали эти кровавые трофеи в Ильмень, приправляя эти воинские забавы не менее возмутительными прибаутками:

- Эх, Ильмень, Ильмень-озеро. На тебе носов... «нову-го-роц-ких»!
- На поди – высморкайся да выкупайся в Ильмене, нос новугороцкой! Н-на!
- А вот губы новугороцки! Целуйтесь-ко со Ильменем-озером.
- Ну-ко, подь понюхай, чем пахнет! Ловите, храбрые новугородцы, носы своих витязей!
- Эй, щука-рыба! Эй, окунь ильменской! Собирайтесь носы да губы новугороцки кушать во здравие!

Дикий хохот, крики и стоны далеко разносились по берегу и по озеру...

– А вот губы с усами – ловите их, новугородцы, красным девкам в подарок!

– Подите, покажитесь топерь своим! – отпускали москвичи изуродованных пленников.

Тихо кругом. Московские рати ушли, оставив побитых врагов на покорм птице и зверю. И насадов новгородских не видать – все отплыли...

Тихо на кровавом поле. Все спят непробудно. Только воронье, которое еще ранним утром летело через Ильмень из Новгорода и с его полей, принялось теперь за свою трапезу. Черные хищники бродят между трупами, перелетывают с одного мертвеца на другого, спорят о добыче, дерутся крыльями и кровавыми клювами... Не смей-де трогать моего: я-де уж выдрал у него один глаз, до другого добирюсь...

Под ивою лежит, разметавшись руками, словно крыльями, богатырь. Ноги оперлись в ствол ивы, а голова запрокинулась назад, и бледное, с кровавыми знаками лицо, кажется, смотрит на небо: что-то де там?.. Так ли де, как здесь, скверно?.. Около него ходит ворон, нерешительно заглядывая ему в лицо... Можно ли де начать? Не схватит ли де?

Ворон вспрыгивает на грудь мертвецу... тихо подбирается к лицу... борода мешает... Он перелетает на землю и подходит с затылка – не так страшно-де – не увидит... Вскакивает на еловец шлема, цепляется лапами... неловко держаться... переходит выше, ко лбу... Нацелился огромным клювом словно долотом и саданул левее переносицы...

Мертвец дрогнул, открыл глаза и шевельнул рукою... Испуганный ворон взвился на воздух, болтая крыльями...

– Марфа! Марфа! Марфа! – прокаркал ворон.

– Окаянная Марфа! О господи! – простонал богатырь.

Это был новгородский силач, рыбак Гурята... «Вечной» ворон, прилетевший вместе с другим вороньем из Новгорода на добычу, своим клювом разбудил раненого и ошеломленного ударами богатыря.

– Новгород! Новгород! – каркала испуганная птица, не зная теперь, на какой труп опуститься...

Глава IX

Какие вести принес ворон

В тот день, когда на берегу Ильменя, недалеко от Коростыня, происходила битва новгородцев с москвичами, вечевого звонарь, кривой Корнил, сидел на своей колокольне и, опершись на оконные перила, рассеянно смотрел своим одним глазом то на город, против обыкновения тихий и почти безлюдный, то на Волхов, по которому кое-где скользили рыбацкие лодки, тоже как бы опустевшие, то туда, в туманную даль, к Ильменю, где вчера скрылись из виду новгородские насады с воинством и откуда шли потом заплаканные бабы и дети, провожавшие своих мужей и братьев. Теперь – у ворот и под окнами домов, либо на мосту – сходились иногда бабы, о чем-то тихо беседовали, качали головами и показывали туда, к Ильменю, куда часто обращался и одинокий глаз звонаря.

Вон прошел Тихик блаженненький, ощупывая своим крестатым костылем дорогу и тихо с собою разговаривая...

Прошел посадник в сопровождении тысяцкого и старосты Неревского конца, взглянул на солнце, которое уже клонилось к западу, поправил на груди свою золотую гривну, что-то сказал тысяцкому и тоже как-то раздумчиво покачал головой.

Точно вымер Новгород. Давно так не было в нем тихо и суморочно. Звонарь перенес свой взгляд на вечевого колокол...

– Что, колоколушко, скучаешь, родной? – заговорил он ласково. – Ниту твоих дитушек – новгородцев? Далече, далече уплыли...

Он приподнялся на подставку и стал вытирать рукавом края колокола.

– Запылился, батюшко родной, запорошило тебя малость. Ну, ин дай смахну с тебя пыль-от...

С такой же речью обратился он и к железному языку колокола:

– Что, старина, помалкиваешь?.. А? Ишь ты, говорун! Повремени малость – заговорим на весь мир хрещеный, на все концы и пятины.

Вот и Гаврилка наш улетел за ратными людьми... То ево там недоставало, а нас, стариков, покинул... Погоди-к ты, ужо дам тебе!.. Ишь ты какой витязь, а?.. На поди!.. А я ево, дурака, кормил-ростил...

Он приставил ладонь ко лбу, оттенил глаз свой и всматривался в даль синюю.

– Не он, не он, не Гаврюша, голубок полетывает... А скучно без него, без ворона глупово.

Он опять обратился к колоколу:

– Вот ты не улетишь от меня, колоколушко... Умру с тобой – похоронишь меня, старика, и сам по мне позвонишь-поплачешь... Кто-то после меня буде звонить тобой, колокол вечной?

Старик снова стал глядеть в синюю даль. Вечерело. С полей возвращались стада, подымая по улицам пыль. То в том, то в другом конце слышался пастушеский рожок. Ревели коровы.

Не один десяток лет наблюдал звонарь эти знакомые картины с своей родной колокольни. Мил и дорог ему был этот вид города, краше которого, как ему казалось, и на свете не было. Сколько домов, церквей, колоколен, монастырей!.. Еще ребенком он засматривался на кипевшую внизу жизнь, на величавую, спокойную реку Волхов...

По бледнеющему небу тянулись едва заметные темные точки. Старик пригляделся: это воронье возвращалось на ночь с полей к своим гнездам.

– Поди и мой гуляка скоро пожалует...

По мосту проходила, опираясь на клюку, сильно сгорбившаяся старуха. Звонарь узнал в ней старую кудесницу, жившую за городом в старых каменоломнях и редко появлявшуюся в городе. Она, видимо, кого-то искала. Кого бы?

Вдруг в воздухе, над самой головой звонаря, зашумело что-то...

– Корнил! Корнил! Корнил! – слышался гортанный крик.

Лицо старика прояснилось. Он поднял голову. В колокольное окно влетел ворон и сел на перекладину.

– А... гуляка! Добро пожаловать! – радостно заговорил старик. – Где, разбойник, пропадал до сей поры, а?..

Ворон, сидя на перекладине, усердно очищал свой могучий, как долото, клюв.

– А! Нажрался, вор? Набил зоб? А подь сюда.

Ворон, как бы понимая слова своего собеседника, с перекладины перебрался пониже, на перила.

– Нажрался падали? Весь зоб в крови по самые очи... Ишь бесстыдник!

Старик подошел к ворону и стал гладить его блестящую спинку.

– А... вор... Може, московское мясо пробовал, а?.. Скусна московская говядинка?

Ворон топырился, не давал себя гладить, даже клювом пробовал долбануть в руку старика.

– Фу-ты ну-ты! Дратца учал? Чево еще не видывали! На... на... клюй старика, подлый! А кто тебя выкормил-выростил? Так-ту добро помнишь?

Птица продолжала чиститься, ошипываться, охорашиваться...

– Матушки! У нево, у подлово, и ноги в крови!.. Где это ты, разбойник, по крови бродил? Где по самое брюшко окровавился, а?.. Ноли в московской крови?

Вдруг старик, сам не зная чего, испугался. Круглая голова ворона и этот могучий клюв с запекшеюся на нем кровью представились ему какою-то страшною долбнею, чем-то отдельным от птицы, самодействующим... Это была в самом деле долбня с долотом и с глазами... Глазастая долбня глядела куда-то, не обращая на него внимания, и как бы думала о чем-то... И ему чудилось, как вот эта страшная голова с клювом выдалбливала человеческие глаза из-под черных бровей. А если это были глаза новгородцев, новгородские молодецкие брови?.. Ведь ему, ворону, все равно, чьи бы ни были те глаза и брови. А если он бродил по новгородской крови? Да не он один, а вон их сколько, этих вещей птиц, поналетело в Новгород...

– Ково клевал? Сказывай... а?

Старик оперся на перила и стал напряженно глядеть на полдень, где небо становилось все бледнее и бледнее. Ничего не видать! Только птица продолжала лететь от Ильменя, с той стороны, куда направились вчера новгородские рати.

Неужели была уже битва? И неужели это с кровавого поля летит птица?.. Так кто же одолел? В чьей крови так забродился ворон?

Старик перекрестился, взглянул на небо, на колокол, на ворона...

– Святая София! Заступи град твой... Не дай колокольца твоего в обиду!

Торопливыми шагами он стал спускаться с колокольни, бормоча что-то и покачивая головой.

Заперев колокольную и сойдя с вехового помоста, он пошел по направлению к Неревскому концу. Попадавшиеся ему изредка на пути бабы, гнавшие коров или несшие ведра с водою из Волхова, кланялись старику приветливо, а иная приговаривала: «Путь-дороженька гладкая, Корнилушко батюшко, звонарик вечной»...

Старик вышел на Побережье, остановился, глянул вверх по Волхову и тоскливо покачал головой:

– Ах, воронок-воронок... и где он окровавился?..

Встречавшиеся ему на пути бабы замечали, что звонарь был какой-то чудной, все как бы с кем-то разговаривал, хотя с ним никого не было...

На Побережье он опять заметил старую кудесницу, которая шла берегом Волхова, видимо торопясь к своим каменоломням. Он вспомнил, что видывал ее когда-то, еще при жизни старого посадника Исаака Борецкого, у его жены Марфы... Зачем она тогда ходила к ней?..

– Темное дело... темное! Ах, ворон, ворон...

Между Разважею и Борковой улицами старик поравнялся с «чюдным» домом Борецких, перешел через улицу и сел на каменной ступеньке крыльца этого дома, чтоб передохнуть. Вечер был ясный, тихий, и окна дома были открыты. Из дому слышались голоса. Старик прислушался и явственно различил голос самой посадницы и даже слова, которые она говорила.

– Так рцы добре знаешь? – спрашивала кого-то Марфа.

– Добре, баба, – отвечал детский голосок, в котором звонарь тотчас же узнал голос Марфиного внука.

– А каки слова на рцы знаешь? – снова последовал вопрос.

– Риза, баба.

– Риза. А еще, а?..

– Запомятовал, баба.

– То-то, дурачок, – запомятовал... Все купаешься с смердятами – все уроки и прокупал!

Еще утонешь...

– Я, баба, не утону – я плаваю.

– Добро-ста!.. А каки еще слова на рцы?

– Риза... вода...

– Вода!.. Ах ты, тетеря!.. Розгою бы тебя за воду... – А рыба?..

– Ах, рыба! Рыба точно!.. А она, баба, в воде!

Марфа засмеялась. И старый звонарь, слушая эту речь, добродушно рассмеялся: «У-у, вострой малец!»...

– Ну, так рыба, да еще рог...

– Да, баба, рог.

– А какой стих на рцы?

– Стих я, баба, знаю:

Ризу вздень, рыбу яждь, рог не возноси,
Смиранных си блаженств у Бога испроси.

– Добре, похваляю... А что есть рог?

– Рог, баба, у коровы, и у барана рога, и у козла рога.

– Ах, дурачок, дурачок!.. Как же человек рог возносить будет?.. Ноли у тебя есть рога?

– Ниту, баба... у козла рога, у коровы...

– То-то... А у человека рог – сие есть гордыня: рог не возноси – сиречь не гордись... А еще на рцы каки словеса знаешь?

– Запомятовал, баба.

– А это что у тебя?

– Рубашечка, баба... Ах, вспомнил и стих:

Рубаха бела праздник есть младому,
Душевна белость не боится грому.

Старый звонарь, слушая это, только головой качал от умиления: «Уж и малец же! У... у, востер, постреленок!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.